



К 70-летию Победы

И память прошлого тревожит

**Повести
Рассказы
Стихотворения**

Красноярск
2015

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6
И 11

Составители Н. Миронова, Л. Лебедева
Редактор текста В. Щербакова
Оформление обложки Л. Мельникова
Рисунки М. Новика

И память прошлого тревожит: повести, рассказы, стихотворения. / сост. Н. Миронова, Л. Лебедева; вступит. ст. Н. Миронова; рис. М. Новика; редактор текста В. Щербакова. – Красноярск : Типография sitall, 2015. – 183 с.; ил.

В сборник произведений о Великой Отечественной войне вошли повести, рассказы и стихотворения членов объединения «Тайшет литературный» и других авторов-земляков.

Среди авторов: В. Архипов, Н. Дегтярёва, В. Рапацевич, С. Стахеев, Р. Вафина, Т. Попова и др.

От составителя

Уважаемый читатель!

Настоящий литературно-художественный сборник посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мы не вправе забывать, какой ценой завоёвана свобода нашей Родины.

Накануне юбилея Победы Центральная городская библиотека объявила литературный конкурс «Лицо войны поведать миру». Цель конкурса – привлечение внимания местных авторов к теме Великой Отечественной войны, сохранение и увековечение памяти о мужестве и героизме, проявленном нашими земляками.

Мы предложили авторам оглянуться назад, вспомнить о трагедии тех дней, о героическом подвиге человека, пережившего войну на фронте и в тылу, о людях, положивших жизнь за победу.

Наша идея была поддержана. На конкурс поступило двадцать шесть работ, лучшие опубликованы в этом сборнике.

Голос авторов сборника негромок, но проникает в самую душу, будит память о суровых годах войны.

Сюжеты рассказов похожи на цепочку частных событий, памятных фактов, трагических ситуаций, личных сражений, которые выигрывали наши земляки на огненной черте фронта, в партизанском тылу, в труде на сибирских заводах, в маленьких городках, сёлах и деревнях.

Любая подробность тех дней, воскрешённая авторами, сегодня поистине дорога.

Н. Миронова



Вячеслав Архипов

День Победы

Повесть

«Ни хлебом единым жив человек...»

1

Весна припозднилась. Тепло затерялось в непролазной местной тайге, в сугробах снега, до которого непросто добраться солнечным лучам в тёмных, недоступных буреломах. Уже пришёл май, а снег на полях только стал исчезать. Зато для людей выпал праздник, и не один. Сначала – поздняя Пасха, а потом – Великий День Победы. Как ни велик первый праздник, а второй тоже не мал. Боль прошлой войны ещё не ушла, и праздник Победы – это и радость, и страдания всех и каждого. Не успела остыть память и у тех, кто был лицом к лицу с врагом, и у тех, кто находился далеко от поля боя, на хлебном поле далёкой сибирской деревни, о которой и в районе не все знают.

Утром все мужское рабочее население деревни собралось в конторе. Женщинам присутствовать здесь не обязательно – им не надо указывать их повседневные дела. У кого есть работа в колхозе постоянная, те её знают, а сезонные работы для них ещё не наступили. А для мужиков находиться здесь – дело иногда и внеплановое. Лишняя копейка в дом сама не заскочит, заработать надо, вот и ходят колхозники по утрам за разнарядкой на работу.

Контора – громко сказано. Это дом бывшего зажиточного крестьянина Сытова, который после раскулачивания хозяина ещё в тридцатые годы был приспособлен под правление колхоза. Большая семья Сытовых была дружной и работающей. Детишек было много, только семь душ одних девок да трое сыновей-помощников. Хозяйство у Сытовых было крепкое, и дом поставили они добротный, на две половины. В одной жили сами, а другая использовалась как амбар, там же варили корм скоту. Когда им объявили решение правления колхоза о раскулачивании, Сытовы спорить и ругаться не стали, собрали свои пожитки на телегу и

ушли в сторону города. Ушли и не оглянулись. Про них больше никто и не слыхивал, будто и не было их...

Представители новой власти дом переделали, настроили перегородок, оставив для правления небольшую комнату с отдельным входом. Котёл из печки выдрали и утащили на колхозную ферму, где стоит он по сей день без дела. Отдельно отгородили колхозную кладовую, навесили на дверь массивный замок и хранили там разную мелочь. Но чаще всего эта половина просто пустовала, потому что хранить в кладовой было нечего. В другой половине было правление колхоза. Небольшая комната на три окна: два – на улицу, да одно – на крыльцо. В углу расположилась небольшая печка, которую зимой топили сами колхозники, пока присутствовали на различных планёрках да разнарядках, или просто сидели, чесали языками, узнавали последние новости и курили махорку. Дым стоял такой, что ничего не было видно, он висел облаками на разных высотах. Чтобы увидеть кого-нибудь, надо было привстать или, наоборот, пригнуться. Женщины, которым приходилось бывать в конторе, ругались почём зря, да только кто их слушал? А женщин было только две: кладовщица да учётчица. Дым от махорки настолько был ядовит, что мухи, которым посчастливилось залететь в тёплое помещение, больше одного дня не жили. Много их валялось между рамами. Когда в правлении последний раз белили, никто не помнил. Полы мыли только перед большими праздниками, а в другое время подметёт тот, кому не вмоготу смотреть на пыль и грязь – и весь порядок. Для этого в углу возле печки стоял веник-голик. По углам комнаты располагались добротные скамейки. В центре стоял стол, на середине стола лежал кусок зелёного сукна, а по краям виднелись гладкие доски, уже почерневшие от времени и грязи. В углу находился небольшой шкаф, в котором красовался чёрный блестящий телефон, работавший от больших батареек. Телефон поставили несколько лет назад, когда произошло объединение четырёх мелких хозяйств в один большой колхоз. Теперь каждая из деревень, которая раньше была самостоятельным колхозом со своим названием, со своим председателем, стала просто бригадой с бригадиром во главе.

Накануне праздника позвонил председатель колхоза и предупредил, чтобы колхозников собрали в правлении, возможно, приедет начальство из города поздравлять с днём Победы. Чтобы не осрамиться перед руководством, послал бригадир своего пацана оповестить всех фронтовиков о прибытии начальства с приказом принарядиться и вовремя явиться.



Не везло колхозу на бригадиров. Всегда ставили какого-нибудь шалопута. Добропорядочные, хозяйственные мужики не шли в руководители. И это понятно. У доброго хозяина своя голова есть, попробуй ему указывать? А когда при власти шалопут, так и проблем для начальства меньше. Что скажут ему, то он и сделает. А если что-то не так, на него же легче и вину свалить. Снимут с должности да другого поставят. Вот взять Пашку-бригадира, так его и за мужика никто всерьёз не принимал, а как получил он власть, так аж потолстел с виду. Баба его жаловалась, что костюм пришлось на два размера больше брать. Его и сейчас не шибко слушают, но власть всё ж, а власть уважать надо. Вот и задирает нос Пашка, думает, что он большая шишка на дороге, и невдомёк ему, что колдобин да ям больше, чем таких шишек. Да недолго осталось терпеть: после уборочной выгонят и его, как до этого турнули Никодимку Ярова.

Пашка сидел за столом празднично одетый. Новый костюм в белую полоску, светлая цветастая рубаша с потёртым, правда, воротником, в сапогах, которые были чистыми, пока их несли из магазина, на голове фуражка в соломенной трухе. Выбритый как попало, видно, брился без зеркала.

– А чего, мужики, не сообразить ли нам ради праздника? – спросил бригадир, видно, уже хлебнувший с утра на похмелье.

Фронтвики отличались от других мужиков своим спокойным нравом. Даже начальство их побаивалось. Говорили они, что хотели, или молчали, но как-то значительно. И все были трудяги, да такие, что в работе их надо было даже останавливать. Лошади не выдерживали, а они ничего, работали. К примеру, Никита Кондрашов, пришёл домой весь израненный, насквозь простреленный, говорят, что даже осколки у него не все вытащили. Он не мог выполнять тяжёлую крестьянскую работу в поле, но приспособился разводить пчёл. Здесь Никита был мастер, ничего не скажешь. За колхозной пасекой исправно следил, и свои домики у него в огороде стояли, благо, что жил он на краю деревни, и пчёлы соседям не докучали. Бывало, отделится рой, так Никита быстро соберёт его, рассадит в новые домики – и все дела. Ходил он за пчелой, как за малым ребёнком, ни днём ни ночью покоя не знал, зато и хозяйство его было прибыльное.

... Фронтвики сидели в стареньких гимнастёрках, украшенных наградами. Не потому, что нечего было надеть, просто праздник требовал этого. Награды и не снимали с гимнастёрок, хранили как самое дорогое. А у Кондрашова на чёрном костюме (истрепалась гимнастёрка

в госпиталях), кроме медалей, орден Красной Звезды привёрнут. А это уже герой что ни говори, награды просто так не дают – заслужить надо. Иван Аришин рассказывал, что крикнут, бывало: «В атаку! Ура!» – а ноги так от страха ослабнут, что не подняться. Хорошо, хоть толпой бежали, так легче, а как одному – и совсем не вмоготу. А когда встал да сделал шаг, там уже всё нипочём, как в стаде: что на праздник, что на убой. А если в рукопашную сошлись – жутко вспомнить даже много лет спустя. Обе стороны бьют тем, что в руки попадёт: прикладом, лопаткой сапёрной, ножом. Страшно. А потом обвыкаешься – и ничего. Вот и молчат фронтовики, потому что всего не расскажешь, а зазря трепаться нечего. И пьют, когда душа сожмётся, когда вернётся память и не даёт покоя, вытягивает все жилы. Тогда – в запой до умопомрачения, пока не отпустит, а потом – опять в работу до изнеможения. Только и спасение – в работе да в водке.

– Давай и выпьем по маленькой, – сказал Семён Ивашов, доставая из кармана пол-литра водки. Праздник великий, начинать надо с «казённой», а там как получится, может, и брагой придётся добавлять. Мужики потянулись в карманы за водкой, у каждого было припасено на этот случай. Народ загалдел, зашевелился, повеселел. У одного оказался кусок хлеба, у другого – шматок сала, огурец солёный. Первым поднесли фронтовикам. Каждый брал стакан, вставлял и молча пил, закуривал и садился. После фронтовиков пили уже все. Когда показался старенький газик, водку прикончили всю. И правильно сделали. Начальство надо встречать с весёлыми глазами, а откуда им быть весёлыми, когда ещё от Пасхи не отошли. А так выпили по маленькой, и в глазах искорки появились то ли от праздника, то ли от желания ещё добавить.

На этот раз из района приехал полноватый чиновник в засаленном пиджачке, представитель райкома партии по фамилии Одинцов. Он имел поручение от райкома и от военкомата поздравить фронтовиков. Когда бывает юбилейная дата, тогда военком может навеститься и сам, а нынче неровная дата, сойдёт и попутно поздравить. Из представителей колхоза был председатель сельсовета Глоткин, мужик немолодой. На фронт не взяли его из-за хромоты, а здесь он и при деле, и хромота не помеха. Языком «чесать» да бумажки перекладывать здоровья большого не надо. С ними прибыл ещё участковый милиционер, Ванька Белов. Мужик неплохой, только служба у него серьёзная, и выполняет он её достойно, но и зазря строгости не применяет. Уважали Ваньку, хоть и милиционер он. Участковый был один на десяток деревень. Зря не

болтался, не выказывал власть, но, если звали, ехал в ночь, в полночь и к чёрту на кулички. И смелости был большой, никого не боялся, усмирят любого дебошира.

– Здорово, мужики! – первым поздоровался Иван Белов.

– Здорово, раз приехал, – ответил Панкрат Смирнов, работавший колхозным конюхом. Панкрат – тоже бывший фронтовик, человек недюжинной силы. Ванька был намного моложе Панкрата, но должность прибавляет гонору. Однажды пьяный конюх не пожелал дать коня участковому, чтобы съездить в соседнюю деревню. Упёрся – и всё тут. Белов в сердцах замахнулся на конюха.

– Чего! – взревел Панкрат да как врезал участковому, что тот с ног долой. И лежит не поднимается. – Ты на кого замахиваешься, щенок сопливый! – схватил Ваньку за воротник, а у того глаза посоловелье, ничего не соображает. Панкрат посадил милиционера на дрова возле хомутарки, принёс ковшик воды и плеснул ему в лицо. Ванька очухался, подскочил, хотел было заорать, да махнул рукой и снова сел.

– Если хочешь, сам запрягай коня, – сказал миролюбиво Панкрат.

– А чего это ты вдруг подобрел? – спросил Ванька и расхохотался. – Ну и окрестил ты меня, коней хоть не бей кулаком – убьёшь.

– Вот и будешь крестником, – заулыбался конюх. – Только я тебе скажу так: на людей нечего замахиваться, хотя бы и при власти. Другому надо, конечно, врезать, но опять же смотри, кому и за что. С тех пор участковый называл конюха крёстным, а тот только посмеивался.

– Здорово, крёстный, как поживаешь? Давно не виделись.

– Так, зима, лето – год долой, там, глядишь, и на покой, – улыбнулся подвыпивший Панкрат.

– Коня-то дашь?

– А чего ж не дать? Вот народ разойдётся, так подходи. Мужики громко захохотали, потому что все в округе знали эту историю.

– Давайте потише, сейчас вас будет поздравлять представитель райкома партии, – громко проговорил председатель сельсовета.

– Товарищи! – неожиданно громко сказал представитель. – В свете решений очередного съезда нашей партии... – и давай читать доклад. Поначалу было интересно, а потом скучно, мужикам хотелось ещё выпить, но докладчика не остановишь. Прослушали планы на пятилетку, задачи колхозов и совхозов, а также международное положение, происки израильской военщины и американского милитаризма. Кое-кто из слушателей уже успел вздремнуть, пока представитель стал поздравлять ветеранов и вручать грамоты.

– А можно деньгами? – шутливо спросил Иван Аришин.

– А нынче дата не юбилейная, – парировал представитель.

Раздав грамоты, делегация уселась в газик и поехала в соседнюю деревню поздравлять других.

– Ну, что? Пойдём в магазин? Там в долг «жук полированный» нальёт. Так между собой мужики звали продавца, который к месту и не к месту употреблял это непонятное выражение. Лёнька продавцом работал давно, районные власти пытались поставить женщин на эту работу, но после очередной ревизии из-за недостачи обычно выгоняли. А у Лёньки недостачи никогда не было, хотя трезвым за прилавком он бывал очень редко. Своим односельчанам всегда давал в долг до получки. Занимались, в основном, мужики. Захотелось похмелиться – шасть к Лёньке. Наливал он сто пятьдесят мужику и сто пятьдесят себе, чтобы поддержать, а мужику записывал долг на все триста граммов. Поначалу все ругались, даже отлупили продавца однажды за такие проделки, а он взял да перестал наливать под зарплату. Стало ещё хуже. Поругались мужики, покряхтели да согласились на его условие. А куда деваться? Потом и привыкли.

Магазин, как и правление колхоза, находился в доме раскулаченного в своё время крестьянина. Большой квадратный дом под круглой крышей внутри был поделён пополам. В передней части находилось торговое помещение, а за прилавком и стеллажами хранились разнообразные товары: продукты в скудном ассортименте, незатейливые ситчики и разные молотки, пилы.... Здесь же был небольшой постамент, где ставили бочки с пивом и селёдкой, когда привозили два раза в год: на Первое мая да на Седьмое ноября. Обычно это всё раскупалось в один день, потому что такие товары были в диковинку. Из пивной бочки выбивали пробку, находившуюся сбоку, да разливали в различные бидоны и вёдра коричневую пенящуюся жидкость. А когда привозили селёдку, то открывали её сверху, аккуратно снимая крышку. Бочку, как тару дорогую, нужно было сдавать, и относились к ней бережно. Селёдки покупали много, но так, чтобы всем хватило в деревне. Людям хотелось порадовать себя хотя бы на праздник. И ещё самым ценным в магазине было – входные филёнчатые двери со стеклянными вставками, вечно промерзавшие даже в небольшие морозы. И скрипели они по-особенному. Даже на гармошке невозможно было подобрать такой приятной мелодии. Когда открывалась дверь, словно необычный звонок оповещал продавца, что появился посетитель. Единственное неудобство в двери было то, что

она была немного узковата. Некоторые проходили только бочком. Но к этому привыкли и не обращали внимания.

Большая компания уже протрезвевших, а потому сердитых мужиков ввалилась в магазин. «Жук полированный» уже поджидал посетителей, знал, что такой праздник мимо его тетрадки не пройдёт. И она лежала прямо под прилавком, всегда под рукой.

– Наливай, продажная душа, – сказал Иван Аришин.

– Проходите, проходите, – засуетился Лёнька, не обращая внимания на колкости.

Вскоре мужики, захмелев по второму кругу, разговорились, расселись около печки на чурках, оставшихся с зимы, закурили махру. Облака дыма поплыли по магазину. Разговор был ни о чём. Мужики выпивали понемногу, курили. Потом вышли на крыльцо и расселись там. Разговаривали громко, стараясь перекричать соседа, при этом совсем не слыша себя. Никита Кондрашов, уже пьяненький, сидел на крыльце и щурился на солнце. Напротив стоял Толянка Шумкин. Толянка – мужичонка пустой. Была у него семья, дети, да только всё как попало. Жена Лушка была пара мужу. Только склоки с соседями разводить да сплетни по деревне носить. Дочка и сын – погодки лет по девять – десять, вечно грязные и сопливые, слонялись возле дома. Никто с ними не дружил. В деревне говорили: «В семье не без урода, в деревне не без Шумкиных». Так вот, никто не помнит, чего понесло Толянку, чего он привязался к наградам Никиты.

– Понавешал на себя побрякушек, – презрительно сказал Толянка и хотел, было, тронуть медали. Никита встал и врезал Толянке по физиономии одной рукой, а другой схватил его за плечо, чтобы тот не слетел с крыльца. И, видно, схватил неудачно. Шумкин упал на землю, а в руке у Никиты осталась половина его рубахи. Все притихли, и в этой тишине вдруг заголосила Лушка:

– Убили! Толянку убили! Люди добрые, помогите! Изверги! – как она оказалось здесь, тоже непонятно, видно, следила за мужем или просто собирала очередные сплетни, чтобы потом промывать косточки сельчанам. Толянка сам вскочил на ноги и испуганно закрутил головой. Под глазом наливался синяк, половины рубахи как не бывало.

– Последнюю рубаху порвал! – орала Лушка. Вокруг собиралась толпа: нечасто выпадает посмотреть на такие «концерты». В этот самый момент вернулись представители власти, которые успели поздравить ветеранов в соседней деревне и ехали назад.

– Ну, чего собрались? – спросил участковый.

– Убили! – вновь завопила Лушка. – Среди бела дня убили!

– Кого? – не понял участковый.

– Мужа моего! Всю рубаху порвали! – орала Лушка перед начальством. Ванька Белов был в растерянности. Вроде бы и ничего серьёзного, но опять же, начальство городское всё видит. Что делать? Какие меры предпринять?

– Составляйте протокол, – сказал городской представитель, – это дело надо пресекать, тем более в такой праздник. Белову ничего не оставалось делать, как начинать разбираться.

– Правильно он ему врезал. Выпил – веди себя достойно, – сказал Аришин.

– Ты его ударил? – спросил участковый Никиту.

– Я.

– За что?

– За дело.

– За какое дело?

– Ты у него спроси, – Кондрашов кивнул на Толянку.

– Я ничего не знаю! Он меня ни за что ударил, ещё и рубаху порвал. Ещё на праздник Победы, – повторил Толянка услышанные слова. Городской представитель кивнул ему, улыбнувшись. Увидев поддержку, Шумкин продолжал:

– Раз фронтовики, значит, можно воевать с мирным населением? Война уже давно кончилась, а они всё не могут угомониться! Вояки!

Панкрат Смирнов молча поднялся и направился к Шумкину. Участковый, сообразив, в чём дело, быстро перехватил его и шепнул:

– Вы чего творите? Проблем мало? Они только и ждут этого. Потом разберётесь, без свидетелей.

Панкрат сел на место.

– Составляй протокол и поедом, – сказал представитель. – А то дорога дальняя.

Ванька написал на тетрадном листке, как всё было, отметил, что Толянка потянулся к наградам и презрительно отозвался о них. Протокол подписали бригадир да продавец. Машина укатила, но все долго сидели на крыльце и смотрели вслед.

«Что ж теперь будет? – думал каждый. – Может, позабудется всё, да потеряется бумажка, велико ли событие свершилось? Мало ли мужики по пьяному делу пускают друг другу «красную юшку», что теперь всех в протокол писать? На завтра выпьют мировую и делов-то? Оно бы так и сошло, да только всех смущал городской чиновник. Не просто дядька

какой-либо, а партийный представитель. Как он повернёт дело? Если бы не захотел шума, не стал бы заставлять писать протокол. А он его ещё и забрал, сказал, что передаст в милицию. А там должны будут принять меры».

Худая весть быстро разлетелась по деревне. К магазину пришла Таисия Кондрашова. Она сказала Лушке:

– Пошли, – и зашла в магазин. – Выбирай рубаху.

У Лушки загорелись глаза. Она стала разглядывать все рубашки, проверять их на прочность.

– Ты бы руки сперва помыла, – сказал недовольный продавец. – Залапают всё, потом и продавать стыдно.

– Не твоё дело, – парировала Шумкина. Она выбрала самую дорогую рубаху. Таисия расплатилась за неё и спросила:

– В расчёте?

– Да, – ответила Лушка – Толя, иди, примерь.

– Дома будете примерять, вещь купленная, иди дома примеряй, – сказал сердито продавец, словно уже догадывался, чем обернётся дело. Никиту ему было жалко, хороший мужик, добрый сосед. Лёнька завернул рубаху в бумагу и вытолкал Лушку из магазина:

– Иди, закрывать буду, – сказал он.

– Никита, пойдём домой, – позвала Таисия мужа. Кондрашов тяжело поднялся и пошёл вслед за женой, опустив голову, словно побитая собака. Отдалившись от любопытных, Таисия взяла мужа под руку и молча повела домой.

2

Кондрашовы жили неплохо. Между собой ладили, а во всём другом было, как у людей. Таисия на десять лет была моложе мужа, но любила и берегла его, Никита пришёл с фронта весь израненный осколками да простреленный пулями. Залатали в госпитале, но остался осколок в груди. В госпитале сказали, что лучше не трогать его, слишком хитро устроился кусок немецкого железа в теле. Какое-то время он не тревожил Никиту, а потом то изматывал невыносимой болью, то опять стихал. Ещё у Никиты было прострелено лёгкое, поэтому он не мог выполнять физическую работу. Даже от привычной домашней работы по хозяйству начиналась одышка, забивал кашель, горлом шла кровь. Приехал Никита из госпиталя умирать домой, но соседская девчонка стала за ним ухаживать. По совету старушек собирала травы и делала

разные настои и выходила Никиту. На тяжёлую работу бывший фронтовик не пошёл, а устроился пасечником. В колхозе была пасека, нужен был умелый человек. Никита постепенно научился досматривать пчёл. Дело шло помаленьку. Потом и поженились с Таисией, когда та подросла. Хорошей женой оказалась Таисия. Никита не знал, как надо любить красиво, какие говорить слова, дарить цветы, но относился к жене нежно, с уважением. Стала и жизнь налаживаться понемногу. Только беда была одна: не могли они родить детишек. Уже и год прожили, и два, и три, а всё не получалось. Тревожиться, было, стали, но бабка одна нагадала, что будет ребёночек, надо только ждать. И дождались. Сын Петька уже в школу ходит, хороший малец растёт, послушный. Никита, бывало, и выпивал с мужиками, но только Таисия придёт, позовёт, и бывший фронтовик, как телок на верёвочке, идёт домой. Не боялся скандалов, тем более, что Таисия и не заводила их, просто стеснялся огорчать жену. Извиняться Никита тоже не умел, ходит, бывало, склонив голову, слово выдавить из себя не в состоянии ни слова. Поначалу кое-кто из мужиков пытался посмеяться над ними, но Никита на лёгкие слабый, а рука у него твёрдая, и кулак, что булыжник. Замолчали.

Таисия остановилась, посмотрела на мужа, спросила:

– Тяжело?

– Есть маленько, – согласился Никита. – Ты не спеши, не управляюсь за тобой.

Она крепче взяла его под руку, и они вместе потихоньку шли по деревенской пустой улице. Только занавески на окнах едва подрагивали...

– Тебе совсем пить нельзя, сам же знаешь, – с укоризной сказала Таисия.

– Так, праздник же.

– То-то, что праздник. Ты уж потерпи, лучше со мной поговори. Я знаю, что война тебя до сих пор достаёт.

– Откуда? – удивился Никита. – Я тебе ничего не говорил.

– Знаю, – сказала она. Ей не раз приходилось слышать ночные крики мужа, когда тот «воевал» во сне. Потом подсказывал, и долго сидел на лавке, боясь ложиться. Много чего услышала в тех криках Таисия: и страшного, и матерного, и смешного. Только никогда не говорила о том мужу. Берегла, как могла. Никита догадывался, что жене известны его ночные кошмары, но она молчала, а он не спрашивал. Дома Таисия подала мужу ковш холодного кваса и уложила в постель.

На другой день всё пошло своим обычным чередом. Весна пришла, шевелись, крестьянин, иначе не успеешь. И каждый знает, что ему делать в первую очередь, а что может подождать. Никита весь день пробыл на колхозной пасеке. Дел хватало всегда, особенно весной. Но за делами никак не выходило из головы вчерашнее событие. Всякое думал о прошедшем дне, не мог понять, как всё произошло. Пустой человек этот Шумкин, не стоило затевать с ним ссору. Один спьяну глупостей наговорил, другой завёлся. Никиту беспокоило то, что Ванька Белов составил протокол.

«От закона ничего хорошего ждать не приходилось, а участковый просто так бумагу переводить не будет. О том, что отвесил оплеуху Толянке, Никита не жалел: за дело – не ты вешал медали, не тебе и цапать их, а вот рубашку зря порвал. Но это было без умысла, так получилось. Таисия молодец, взяла тут же и купила другую рубаху, чтобы разговоров не было», – рассуждал про себя старый солдат.

Так в раздумьях и прошёл день.... Домой Никита обычно ходил вдоль речушки, за огородами, выходил в своём проулке. Здесь скот гоняли летом на водопой и на пастбище, поэтому и звали их улицу по-разному: кто прогон, кто проулок. Сегодня же Никита решил пойти по деревне, узнать, что говорят люди. У кузни, стоявшей неподалёку от деревни, подальше от греха (кузни часто горели), толпились мужики. Панкрат пригнал коней, готовил их к работе. Нужно было посмотреть подковы, если требовалось и заменить. Митрий, кузнец по фамилии Кузнецов, тоже бывший фронтовик, не торопясь подвешивал коня в станке и осматривал копыта. Станок был сделан из четырёх столбиков с перекладинами. С перекладин свешивались два широких ремня, которые подводились коню под брюхо и воротом приподнимались. Ноги коня освобождались, и ему легче было пережидать всё, что делал с ним кузнец. Митрий делал своё дело, сила у него была не малая. Не только у него. Все у них в роду были кузнецами, и все сильны от рождения. Крепкая жила заложена была в них предками. Как все сильные люди, Митрий был спокойным и даже кротким. Никогда не попадал в истории, пьяным не бузил, потому как живы были ещё отец и дед и держали его в строгости.

- Голова болит? – спросил Панкрат Никиту.
- Уже нет, Таисия квасом отпоила.
- А у меня не проходит. Надо, наверное, подлечиться. Будешь?
- Нет, не буду, дел завтра много.
- Да не напиваться, а похмелиться.

– Нет, я просто так посижу, вы, если хотите, похмеляйтесь.

– Митрий, неси кружку, – окликнул Панкрат кузнеца.

Распив бутылку, мужики сидели и курили махорку. Щедрые самокрутки потрескивали, испуская облака едкого дыма.

– Чего слышно? – спросил Никита.

– Ничего не слышно. Сегодня все уже на работе. Трактора доводят до ума, завтра пахать выезжают, вот, коней готовлю, тоже надо начинать огороды пахать.

– Огороды ещё рано, – сказал молчавший Митрий.

– Пахать ещё, конечно, рановато, а упряжь подгонять уже пора. Потом только поворачивайся. А ты, Митрий, посмотри плуги да бороны, чтобы задержки не случилось.

– Готово всё, – сказал кузнец. – Ещё с осени приготовил и смазал солидолом, хоть сейчас запрягай.

– Семён Ивашов трактор делает?

– Ковыряется. Приходил, я ему резьбу нарезал, болт совсем износился. Говорит, что завтра с утра в поле. Земля подсыхает.

– А бригадир чего? – спросил Никита. – Что говорит?

– А тебе чего бригадир, сам не знаешь, что делать? Он с утра клюкнул да носится по деревне, только мешает работать. В каждой бочке затычка. Насмешка над должностью. Это тебе не Иван Силыч, тот, бывало, только глянет, и говорить не надо. Большого ума и совести человек, – сказал Панкрат и стал сворачивать очередную самокрутку. Пришли сразу трое: Осташков Сашка, на деревяшке, Иван Аришин и Семён Ивашов.

Иван достал две бутылки самогона и половину ковриги хлеба.

– Праздник, вроде, как вчера был, – не унимался Панкрат, он уже опохмелился, но добавить совсем не отказался бы.

– Не пропадать же самогонке.

– Это верно, – Иван разливал и подносил всем по очереди. Когда кружка дошла до Никиты, тот стал отказываться.

– Давай за наших однополчан, которые не дошли, – Иван протянул кружку. Никита выпил. – Ты не переживай, больше не буду тебе наливать.

– И то. Вчера тяжело было как никогда.

– Мы помянем всех наших разом, завтра на работу, не до выпивки.

Вскоре всё было закончено. Фронтовики молча сидели и покуривали. Каждый думал о своём.

– Мужики, вы, когда в окопе сидели, не говорили такое, что вот кончится война, жизнь будет другая, светлая и красивая. Не мечтали? – вдруг спросил Никита. – Я пока раненым валялся, всё думал, жалел, что не выживу, не увижу новой жизни. Как хотелось посмотреть хоть глазком. А выходит, что ничего светлого не вышло. Когда Иван Силыч приехал председателем, вот я и обрадовался, ну, думаю, и пришла настоящая жизнь. Помните, как начиналось?

Мужики вдруг зашевелились, лица посветлели. Вспоминали совсем недавнее прошлое, когда жизнь начала было налаживаться.

Сразу после войны колхоз едва выживал. Много мужиков войной выбило, другие израненные пришли. Некоторые запили. Так волочилась жизнь, как чёрная туча, цепляясь за макушки сосен. Никакого просвета не предвиделось, и каждый старался вырастить на своём участке что-нибудь, чтобы выжить. На колхоз надежды не было: то неурожай, то выскребут всё по осени на хлебосдачу по плану, сверх плана, а потом всё до кучи. И живи, крестьянин, как хочешь. В колхозе работали почти бесплатно, потому что на трудодень ничего не выплачивалось. Дадут зерна немного, чтобы не помереть, а скотину корми, чем хочешь. Вот и садили крестьяне картошки, сколько могли. Но и она урождалась не каждый год, бывало, и сгнивала прямо на огороде. Семена бы обновить, да где их возмёшь? А то и из-под снега приходилось копать, пока колхозные дела не закончатся, на свой огород ни ногой. Вот и сено косили в сентябре, когда трава на корню высыхала. Много с такого сена корова даст молока? И так в любом деле. Свиней кормили «глызами» (замёрзший конский помёт), в котором попадался овёс, ребятишки собирали «глызы» в мешки, потом дома их запаривали и кормили свиней. Поросят продавали в город, с этого и жили. Покупали какую-нибудь одежду для себя и для детей. Имели по две телогрейки, и то не все колхозники: в одной управлялись со скотиной, а другая, поновей – на выход, в город съездить. Зато умели шить да перешивать. Детишки летом носились в самошитых шароварах да майках, а зимой сидели по домам, потому что с валенками было небогато.

Так и жили до середины пятидесятых. Приехал тогда в деревню председателем Глебов Иван Силыч. За спиной у него была сельскохозяйственная академия, жил он в Москве, там и выучился. Только случилась какая-то конфузия, и Иван Силыч взял семью и поехал осваивать Сибирь. Вместе с ним приехала жена Мария да две дочки: старшая Настасья, младшая Лидия. В райкоме Глебов попросился в самый отстающий колхоз. Чего бы доброго, а эту просьбу

выполнили с удовольствием, тем более что вслед за ним пришла характеристика, не совсем хорошая. Скандальный, самовольный, только в конце приписка, что как специалист грамотный, знающий. Председателя в деревне не было уже полгода, колхозники жили только указаниями из района. Поначалу не приняли председателя, мол, что знает городской про жизнь деревенскую? Привезли председательскую семью под вечер, поселили в пустовавший дом посреди деревни. Дом не очень хороший, но другого не было. Иван Силыч был небольшого роста, с едва заметной полнотой, подвижный. Взгляд быстрый, как свет фонарика, осветил и запомнил. Сразу по приезде к ним зашёл Панкрат. Бесцеремонно оглядев новосёлов, он сел на табуретку и сказал:

- Ну, здоровы были что ли.
- Здорово. А ты не конюх случаем? – вдруг спросил Глебов.
- Как ты угадал? – удивился Панкрат.
- Оглядывал нас, как конюх коня, подумал, что зубы смотреть будешь.
- Конюх я, – понравился новосёл Панкрату. – Может, надо чего на первое время?

- Пока не надо, а потом видно будет.
- Дров возмёшь у меня, поленница на улице, хоть и весна, а по ночам прохладно. Потом соберем какую-никакую посуду: вёдра, тазы, кастрюли. Пришла жена Панкрата, принесла горячей варёной картошки, солёных огурцов и кринку молока. Сбегала ещё раз домой и принесла старые кружки и ковригу хлеба.

- Ой, не надо, – засмушалась Мария. А дочки проголодались и смотрели, не отрываясь, на картошку и хлеб.

- Вы переночуйте уже так, там есть кровати, а завтра мы с бабами порядок наведём, побелим, и будет как у людей. Задерживаться не стали, чтобы не смущать новеньких.

Утром Иван Силыч пришёл на конюшню.

- Здравствуйте, мы вчера не познакомились, неудобно получилось, – Глебов представился. Панкрат тоже назвался.

- Панкрат, ты знаешь все колхозные поля?
- Знаю, как не знать?
- Запрягай коней, поедem, покажешь мне поля, хочу посмотреть сам.
- Чего их смотреть, земля и есть земля.
- Земля земле рознь. Хочу посмотреть, что есть в наличии.

Сам подтянул стремяна под свою длину ног, довольно резво сел на коня, удивив Панкрата. Целый день они ездили по полям, Глебов что-то записывал в книжечке. Панкрат хоть и проникся уважением к новому

председателю, но имел сомнение, что это всё быстро кончится. Однако поля показал, ответил на все вопросы, что знал. К вечеру, когда приехали назад, Глебов пригласил Панкрата с женой в гости на чай, Мария обещала постряпать чего-нибудь к чаю.

Вечером Панкрат зашёл к соседям и не узнал дом. Всё было вымыто, вычищено, постелены какие-то половички на пол, появились занавески на окнах. Всё не по-деревенски. В доме пахло чем-то очень вкусным. Панкрат уж было собрался потихоньку уйти, пока никто не видит, но в этот момент из кухни выпорхнула принаряженная Мария.

– Вы проходите прямо в комнату, там и посидим, чаю попьем. Панкрат нерешительно стал продвигаться к окну, где стояла большая скамья. В деревенских домах вместо стульев вдоль стен стояли длинные широкие скамьи, куда присаживались все приходившие гости. За столом сидел сам хозяин, обложившись какими-то бумагами и книгами. Услышав шум, он поднялся навстречу соседу.

– Садись, Панкрат, давай по-простому, по-соседски, без всяких причиндалов. Мои дамы с вашими деревенскими быстро нашли общий язык, и мы, мужчины, найдём. Да проходи ты, – видя нерешительность Панкрата, сказал Иван Силыч. Он собрал бумаги, сложил в стопку и положил на подоконник.

– Маша, у нас скоро чай поспеет? – спросил он. Хозяйка вынесла большую тарелку с какими-то диковинными булочками и лепёшечками. Принесла чай в отчищенном чайнике и кружки. Сахар, колотый на мелкие кусочки, лежал в маленькой тарелочке.

– Вот что, Панкрат, хмельного выпьем мы в другой раз, ты не думай, что я скряга какой, просто у меня разговор к тебе очень серьёзный. А водка другой раз бывает помехой к разговору. Вот с чаем будет в самый раз.

– Ты не беспокойся, я понимаю. Только что я тебе могу рассказать, ты, вон, видно учёный, не нам чета.

– Давай без этого, кто чего стоит – покажет время, а сейчас у меня к тебе вот такое дело. Расскажи мне, пожалуйста, о людях. Кто чем дышит, кто на что способен? Панкрат недоумённо посмотрел на соседа. Тот уловил взгляд и рассмеялся:

– Не надо «стучать» на односельчан, кто и как живёт, это пусть останется тайной. Просто расскажи мне, кто какой в работе, какие умельцы есть? Теперь, чтобы не было недоразумений, объясню, зачем мне это надо. Земли я посмотрел, дела, я понимаю, невесёлые. Сейчас весна, скоро пахота, и мне нужно определиться, где и что сеять, какие

корма для скота нужны. С людьми мы будем говорить на собрании, но там при народе люди всего не расскажут. А время уходит. Вот и решил я вначале поговорить с тобой. Расскажешь?

– Ну, если так, тогда чего ж, можно и рассказать. Людей я знаю, давно здесь живу, – Панкрат всё больше удивлялся новому председателю. Проговорили они допоздна. Панкрат про каждого сказал правду, кто способный и толковый, на кого можно положиться, а кто работает только под присмотром. Откровенных лодырей в деревне не водилось, были недотёпы и то немного. Но при хорошем напарнике и они были не последние. Вот так с разными присказками Панкрат рассказал обо всех. Председатель делал какие-то пометки для себя, откровенно хохотал, когда слышал что-либо занятное.

– Хорошо, Панкрат, завтра с утра мы с тобой проедем ещё по фермам и посмотрим, что есть и в каком состоянии, а вечером надо собрание назначить. Можно сделать это?

– Бабе своей скажу, завтра она в магазине объявит, и не сомневайтесь, люди придут все. У нас собрание, как праздник, никто не пропустит.

Вечером в пустой половине дома, где было правление, собралось всё взрослое население деревни. Интерес был большой. Какой такой новый председатель, чего он придумал такого? От разных придумок крестьянин только пояс туже затягивает.

– Тесновато тут, в следующем году построим клуб. Там просторней будет и кино смотреть будет где, – первое, что сказал новый председатель. Народ растерялся и притих. Странное было начало. Обычно лекция часа на полтора про партийные планы, а потом по делу.

– Меня зовут Глебов Иван Силыч, назначен я к вам председателем колхоза. Вчера и сегодня посмотрел хозяйство, запущено, конечно, но толк будет. Будем работать, будет у нас всё: и клуб, и нарядиться во что, и всё, что пожелаете. Некоторые скажут, что, мол, «заливает» председатель. Говорю серьёзно. Будем работать хорошо – всё получится. То, что я видел сейчас, это не работа, присутствие на работе. Сам буду вкалывать и никому спуска не дам, не надейтесь. У меня две дочери имеются, и я не хочу, чтобы они росли в нужде. Думается, что и вы своим детям добра желаете. Верно?

– Можно слово? – спросил Никита Кондрашов.

– Пожалуйста, – ответил председатель.

– Такое уже было не раз, вкалываем, растим урожай, а потом придут уполномоченные и заберут всё по плану и несколько раз сверх того. И остаётся мужик ни с чем, только своим хозяйством и выживает.

– Честно сказать, я гадал, скажут про это или нет, – сказал Глебов. – Проблема наболевшая, и не только у вас. Раз вопрос поставлен, скажу прямо, это я беру на себя. Такого больше не будет, чтобы всё выгребали. План придётся выполнять, поставки никто не отменял, но останется и себе. Даю вам всем в этом слово, что если поработаем, как следует, то и достаток будет видно уже этой осенью. Если, конечно, погода не подведёт или петухи соловьями петь не начнут. Иван Силыч сел на место. Люди сразу выдохнули свободно, стали шикаться, переговариваться между собой. Поверили.

И началось. Работали на износ. Людей подкупало ещё и то, что жена председателя и дочери его не сидели дома, а работали в поле вместе со всеми. В тот год и лето выдалось хорошее. Заготовили впрок кормов для скота, увеличили надой молока, на своём маленьком маслозаводе и перерабатывали его, мясо сдали по плану, урожай вырастили хороший. Как только началась в районе хлебосдача, председатель сказал сельчанам, чтобы они ехали на склад и получили причитающееся им по трудодням зерно. Хороший получился трудодень, никогда столько хлеба не получали колхозники. И деньгами вышло неплохо. Колхоз и по плану сдал зерно вовремя. Когда план был выполнен, председатель часть зерна оставил на фураж, а ещё немного оставил для сдачи сверх плана. Не отстанут же. И не отстали, забрали всё, что было приготовлено для этого. Приехала комиссия из города, посмотрела амбары – брать и впрямь нечего. Только семенное зерно и фураж. Когда узнали, что трудодень уже выплачен, был большой скандал, но не пойдешь же по домам зерно забирать, не те времена. Отбилась от всех нападков Иван Силыч. А когда всё утряслось, устроили в деревне праздник урожая. Выделили зерна на самогон, приготовили закуски. Перед этим забили бычка, и Панкрат Смирнов увёз его на базар. На вырученные деньги купили подарков для всех. Косынки, платки, бусы... Купили вина женщинам на стол да сладостей детям. Иван Аришин сколотил столы и лавки, устроились все на воздухе – стояли погожие последние осенние денёчки. Как же было приятно людям, когда председатель вызывал по списку лучших работников и от имени колхоза дарил незамысловатые подарки за примерную работу. Вызываемые выходили под одобрительный смех и критику, смущались. В первый раз же.

– Недовольные есть? – спросил председатель, вручив последний подарок. – Я своё слово сдержал, но говорю, это только начало, на следующий год будем ещё больше стараться, и результат будет. Вот увидите. Ну а теперь, наливайте там, стаканы разошлись уже.

Два дня погуляли, а потом опять принялись за дело.

Прошёл год. Построили клуб, причём сруб поставили и накрыли за один день. Сделали сцену, как положено с закрытым проходом из одной половины на другую. Сама сцена выше пола на две ступеньки. Молодая учительница вместе с местной молодёжью к открытию приготовила спектакль. Сами шили костюмы. К тому времени по деревне поставили столбы и протянули провода для электричества и радио. Дизельную электростанцию поставили под горой у речки и включали свет вечером на три часа. Тогда же и кино привозить стали. Вот и почувствовали люди, что можно жить лучше. На другой год лето выдалось неважным. Сначала высушило всё, а потом заливать дождями стало. Но выкарабкались, собрали урожай немногим хуже прошлогоднего. А у других и того не было. И на этот раз председатель успел раздать зерно вовремя. На другой день приехала комиссия и стала смотреть урожай. И опять был скандал, и опять сдали ровно столько, сколько было по плану и немного сверх того. А у колхозников появилась лишняя копейка. Принарядились, купили радио, а механизаторы и мотоциклы. Соседние деревни завидовали.

Да только недолго продлилось счастье. Ещё только один годок. Потом вышло постановление укрупнять колхозы. Глебову предложили руководство укрупнённым колхозом из четырёх деревень, расположенных друг от друга на порядочном расстоянии. Иван Силыч отказался, знал, чем всё это закончится. На последнем собрании он сказал, что привык держать своё слово, привык работать по-честному. А за всеми колхозниками не уследишь: один работает, другой баклуши бьёт, а на трудовень всем положи одинаково. Попросил прощения у сельчан за всё и уехал в город. Там ему нашли место, где он и работает по сей день. Только часто приходит на базар, если встретит кого из бывших односельчан, узнаёт последние новости. Поговорит да уйдёт. А через неделю-другую опять идёт на базар.

После Глебова и пошли разные председатели, Пашки да Васьки, от которых ни уму, ни сердцу пользы не было. И опять стал хиреть колхоз. Только одна радость: отменили трудовни, стали платить зарплату. Пусть небольшие деньги, зато постоянно.

– Только и вспоминать осталось, – поддакнул Митрий.

– Мы тоже в окопах мечтали, да я только позабыл обо всём. Так проще, – Иван Аришин со злостью швырнул потухшую самокрутку. – Мы хоть чуток увидели, а другие и этого не знали. В прошлом году встречал Силыча на базаре. Поговорили в чебуречной, бутылку распили. Расспрашивал всё, говорил, что лучше людей, чем в нашей деревне, и не встречал.

– А помнишь, наказание у него за провинность было какое? – спросил Панкрат. – Я как-то загулял, уж не помню с чего, так он, когда на работу утром распределял, взял да и прошёл мимо. Я, было, подумал, что пропустил по ошибке. А он и на другой день мимо, да на третий. Я к нему, что, мол, за дела такие? А он мне и говорит, чего тебе мешать пить, гуляй, веселись, пока люди работают. Да так осрамил, верите, готов был сквозь землю провалиться. Ни перед кем не стыдился, перед ним просто чуть не помер. Стою я перед ним, выше его на голову, а кажется, что это он на меня свысока поглядывает. И не закричит, не заругается.

Вот оно светлое и красивое, что в жизни и было. Нормальное честное отношение. Не отдых какой-то и валяние на боку, а работа до упаду, и честная оценка этой работы. Разве многого хотелось людям? Только и всего: пообещал, так выполни. А в итоге: мелочи разные, свет по три часа в день, радиоточка, которая балаболит с шести утра и до двенадцати ночи, кино пару раз в месяц. Да дочки, примеряющие разные обновки, жена в новом пальто, вместо телогрейки, и не узнать её сразу. Мужик-то в телогрейке ходит ещё, в ней удобней. Вот и все радости. Нужно ли ещё чего? А кто его знает? Раньше лепёшкам были рады, а теперь плюшки с творогом подавай. Дочки председателивы научили деревенских сверстниц платья шить на разные фасоны, и ходят сейчас местные модницы, как цветы на поляне. Много ещё чего было, о чём и не вспомнишь. Так сидели, думали мужики, пока не стало темнеть. Потом поднялись и молча разошлись. Мысли – это тебе не мешок с картошкой: так придавят, что только держись. И не сбросишь одним махом.

3

Опоздавшая весна начала стремительно набирать силу. Пришло тепло, прошумели тёплые дожди, прогремели первые грозы на едва появившиеся липкие берёзовые листочки, полезла ярко-зелёная трава. Началась пахота.

Утром в конторе Пашка, бригадир, приказал Витьке Кузину вспахать большое поле, находившееся за рекой, напротив деревни за один день. Витька возмутился:

– Ты, бригадир, охренел, что ли? Разве можно за день это поле вспахать? За два, может, и вспашу. Я не железный.

– У вас и заработки больше всех в посевную, – настаивал на своём бригадир.

– Ты мои деньги не считай, сам посиди в кабине сутками, потом узнаешь, много платят или нет.

– Если премию выпишешь, так я попробую, – сказал молчавший до этого Семён Ивашов.

– Сколько же ты хочешь премии? – поинтересовался бригадир.

– А два литра водки поставишь сразу после вспашки и всё, зарплата само собой.

– Два литра? Четыре бутылки?

– Соглашайся, Пашка, пока Семён не добавил, – поддакнул Никита Кондрашов. Ему не надо было ходить в правление, у него вся работа расписана на год вперёд: пчёлы не любят беспорядка. Но Никита каждое утро приходил в правление, как говорится, людей посмотреть да новости послушать.

– Ты думаешь, что продешевил? – спросил Семён Кондрашова.

– Хорошо! Я согласен. Если ты до завтрашнего утра вспашешь, я ставлю два литра тебе, а если нет, то ты мне. Согласен?

– Согласен, – заулыбался Пашка. Он и сам знал, что вспахать это поле за день нереально, но торопил Витьку, чтобы тот не волюнил зря, а за два дня приготовил поле к севу. Время подходило. Семён встал и пошёл к трактору, обернувшись, крикнул бригадиру:

– Зайди к моим, скажи, чтобы перекусить принесли.

Семён проверил масло в картере, хотя точно знал, что всё в порядке. Взял засаленный шнурок, накрутил на шкив пускача и резко дёрнул. Пускач затрещал вспугнутой сорокой, но потом набрал обороты. Через пятнадцать минут Семён уже нарезал первую борозду, а четыре корпуса плуга захватывали хорошую полосу. Откуда ни возмись, на свежевспаханную землю налетели скворцы, стали прыгать и выискивать червей. Солнце поднималось всё выше и грело сильнее. Тракторист изредка поглядывал на показания температуры двигателя по прибору. Убедившись, что мотор не перегревается, совсем успокоился. Равномерно отваливая пласты, корпуса плугов изредка поблёскивали на

солнце. Когда уже было вспахано прилично, прибежала дочка с узелком, в котором была еда. Семён остановился, взял еду, сказал дочери:

– Ты забеги к бригадиру, скажи, чтобы к вечеру солярки подвезли и масла. А то он может позабыть. Меня не ждите, до утра не приду, работы много.

– Пап, а прокати меня немного, – попросила двенадцатилетняя дочка – любимица. Старшая дочь уже взрослая, та больше с матерью, а эта сорвиголова. И с пацанами дерётся, и к технике приглядывается. Сына не было, не дал бог, потому и нравились ему в дочке мальчишечьи повадки.

– Ну, залазь, – Семён подвинулся с водительского места. Он уже давал дочке подёргать рычагами, и она знала, как надо управлять трактором. Только передачи он включал сам, не хватало силёнок у Наташки. Она лёгким пёрышком влетела в кабину и взялась за рычаги. Управлять трактором во время пахоты проще, чем на дороге, тормоза нажимать не надо. Подёргивай потихоньку фрикционы и смотри, чтобы трактор из борозды не убежал. Целых три круга пропахала дочка. Устала. Какие у девчонки силёнки ещё? Но очень счастливая, она постояла немного, посмотрела на удаляющийся трактор, потом вприпрыжку побежала домой.

Обедать Семён сразу не стал, найдётся ещё время, когда будут заливать солярку. Пока ручным насосом полный бак накачают, можно не только пообедать, но и вздремнуть. К вечеру на небе поползли редкие облака, потянул свежий ветерок, гулявший сквозь открытые двери кабины. Всё больше и больше чернело пахоты. Монотонная работа навеяла воспоминания о войне.

Война перепахала жизнь многим. Сколько черноты вывернула да кровушкой пропитала. Везло Семёну с командирами. Умели и приказ выполнить, и людей сохранить, не лезли на ура, сначала думали, а потом делали. Бывало, конечно, всякое: и солдаты гибли, и командиры. А его, Семёна Ивашова, обходила «кривая с косой» стороной. И гореть в танке приходилось, да обошлось. Однажды командира убило, наводчика ранило сильно, а он, механик-водитель, только немного обгорел. Подбивали три раза, но удачно. Один раз сумел Семён горящую машину в речку завести, волной смыло пламя, правда, едва не потонули. Бои на Курской Дуге и вспоминать страшно – суший ад. А когда от злости на таран шли, улетел страх, злость силы прибавляет. Однажды столкнулись с «тигром», почему-то заглохли оба танка, так экипажи выскочили в рукопашную драться. Семёну немец попался здоровый, да

ещё с ножичком, голыми руками против ножа – тяжело. Спасибо командир увидел, пристрелил из пистолета немца. Но руку Семёну фашист все же проткнул. Медсестричка, худенькая, в чём душа только держится, когда перевязывала, сказала, что ему повезло: не повреждены ни вены, ни жилы. Заросло, как на собаке, только пятнышки остались. Даже на погоду не ноют. Не геройствовал Семён на войне, просто выполнял свою работу. И неплохо выполнял, раз две медали «За Отвагу» дали. Одну награду – за таран, а другую – за то, что вывел из-под обстрела грузовик с ранеными. Сначала проделал дорогу в овраге, а потом зацепил и протасил машину. Там её не заметили и не разбили пушками. Обещали орден, но потом обошлись медалью. А Семён и не в обиде, не за ордена воевали. Людей спас, а отметили, не отметили – дело десятое. Потом уже целый «иконостас» юбилейных навесили...

Из деревни показалась повозка. Лошадь тащила большую железную бочку, приспособленную на телеге. Там же были небольшие бочонки с водой и маслом, позади телеги закреплён насос, которым и закачивали горючее в топливные баки. Возница сидел впереди на мягком сиденье от трактора. Бригадир дал команду доставить солярки, залить полный бак – пахать придётся всю ночь.

Горючее возил Ваня Семин – старичок невысокого роста, сухонький, словно его не кормили. Вся его телега и он сам были пропитаны запахом солярки и масла, казалось, что лошадь тоже пахнет ими. Недалеко от кузницы, на пригорке, стояли три больших бочки, наполовину вкопанные в землю и обнесённые высоким забором. Там же стоял небольшой рубленый амбарчик. Всё внутри ограды и на несколько десятков метров вокруг было пропитано маслом и мазутом. Ничего вокруг не росло. Всем этим заведовал Ваня. В амбарчике находились небольшие бочки с маслом, солидолом и прочими материалами. Две больших емкости на улице были с соляркой, третья – с бензином. Кому нужен был бензин, приходили на заправку, брали, сколько надо, и записывали в тетрадку. Потом по этим записям с них высчитывали из зарплаты. Бензин нужен был для мотоциклов, которых было совсем немного, да для появившихся недавно бензопил. Хорошее дело – бензопила. Попривыкли к ним уже, без них как без рук. У кого их нет, просят других попилить дрова, а потом угощают самогонкой.

Ваня остановился возле края поля, поджидая трактор. Приготовил насос, толстый резиновый шланг в проволочной оплётке. Семён подъехал и заглушил мотор. Обычно трактора не глушили, чтобы не

дёргать пускач, но Семёну захотелось отдохнуть от шума. – Здорово, Ваня! – весело крикнул Ивашов.

– Доброго здоровьица, – буркнул Ваня. Разговаривать он не любил.

– Чего не весел?

На этот вопрос Ваня уже не ответил. Он свинтил крышку с бака, вставил туда шланг и стал качать солярку. Семён перестал приставать к заправщику, знал, что бесполезно. Посмотрел уровень масла, долил до нормы, добавил в радиатор воды, сполоснул руки и принялся за еду. Краюха хлеба, несколько варёных яиц, небольшой кусок пожелтевшего сала, бутылка молока, ещё три больших варёных картошины – вот и весь обед. Ваня равномерно скрипел насосом. Крак-крак, снова крак-крак. Солнце садилось на макушки сосен. Потянуло прохладным ветерком. Крак-крак, скрипел насос. Семён задремал на мгновение.

– Готово, – сказал Ваня и поехал. Через пять минут трактор уже продолжал бороздить поле, оставляя за собой чёрные пласты земли. Вскоре стемнело. Тусклый свет фар едва освещал борозду. Опять в голову полезли мысли. Вспомнился случай на фронте.

Наступление – это всегда суматоха и беспорядок. Кто где находится – непонятно. Особенно, когда наступление стремительное. В тот раз снаряд попал в гусеницу: разорвало пару траков, разбило каток. Неисправность несложная, но нужно время, чтобы устранить всё. Пока поменяли катки, сменили траки, натянули гусеницу – стемнело. Перед этим проезжавший комбат сказал:

– За деревней метрах в трёхстах повернёте налево, а там дорога приведёт в соседнюю деревню, где мы будем ночевать. Спросите часового, он подскажет.

Закончили ремонт в темноте и поехали. Поворот не увидели и проехали прямо. Уже давно должна быть деревня, а её всё нет и нет. Потом смотрим – силуэты изб. Вот и часовой ходит. В темноте сильно не разберёшь, кто там.

– Эй, солдат, где танкисты остановились? – крикнул командир, высунувшись из башни. – В этот момент часовой и шарахнул с автомата по нему. Хорошо, что он успел среагировать и спрятаться в танке.

– Гони, немцы! – крикнул командир. Рванули на всех газах. Немцы на выстрелы стали выбегать из домов, да только что можно сделать танку из автоматов. Даже ручной гранатой не остановишь. Пролетели по деревне весело, даже парочку грузовиков разбила, оказавшихся на пути. Танк – это не легковушка, на скорости поворачивается плохо. Стрелок из пулемёта успел пару очередей пустить. Проскочили деревню и дёру.

Потом остановились, осмотрелись, погони нет, свернули в лесок, решили дожидаться рассвета, там будет видно. Может, и воевать придётся: боекомплект полный, горючее есть, чего не навести шороху. Командир авантюрист был, говорит:

– Утром кого-нибудь дождёмся: или немцев, или наших. Главное – позицию выбрать хорошую, мы им в тылу дадим жару. И утром «пошерстили» немцев. Колонну машин и бронетранспортёров разбили. Подожгли первых, потом щёлкали машины, как орехи. Машины не смогли разъехаться по полю, немцы организовали оборону, но какая оборона у автоматчиков против танка, который и бьёт-то издалека. А тут и наши подоспели. Оказалось, что деревня, в которой свои были, находилась в полутора километрах. Услышав стрельбу, танкисты бросились на выручку. Немцы, кто уцелел, разбежались кто куда. Гоняться на танках за ними не будешь.

– Ну, и какого хрена ты тут делаешь? – спросил комбат, нашего командира.

– Так, я...это... ну... решил здесь немцев покараулить, – нашёлся тот.

– Влепить бы тебе по первое число, да ладно, прощаю на первый раз, но смотри у меня. Вскорости дали нашему командиру орден «Красной Звезды» за уничтожение вражеской колонны. А командир принёс для экипажа две фляжки спирту. Все были довольны.

Так за воспоминаниями и проходила ночь. Трактор работал ровно, не капризничал, тракторист сидел, прислонившись к стенке кабины, одной рукой легко управляя техникой. Только при разворотах приходилось работать в полную силу, а потом опять длинный загон расслаблял и навевал думы.

Смотри-ка, чего Никита удумал, а? Про хорошую, светлую жизнь заговорил. И ведь мы тоже об этом поговаривали. Неужто все на фронте только об этом и мечтали? И прав Никита, где она, эта жизнь? Какая она? Где оно, счастье? Вот родилась дочка, первый раз взял на руки и задохнулся от восторга. Потом сколько времени просидел у зыбки, всё смотрел и не мог понять, что же значит это маленькое беззащитное существо для него? Радовался первой улыбке, первому слову, первому шагу. Всё было внове, всё вызывало восторг. Об этом он никому не говорил, ни с кем не делился, негоже мужику слюни распускать. Но самого себя не обманешь. Может это и есть радость? Светлая, добрая? Вот когда вторая дочка появилась, такого восторга уже не было, радовался, конечно, был счастлив, но уже не смотрел на неё часами. Подмечал то, что в первый раз не углядел или пропустил из-за работы.

И разные они. Старшая – всё больше с матерью. Это нормально для девочки, а младшая к отцу тянется. А дороги обе. Как можно свою кровинушку делить? Может, вот это и есть счастье? Опять же, это всё правильно про одного человека, но мы-то говорили, мечтали, что вся страна заживёт по-другому.

Остатки сна совсем покинули Семёна. Он даже немного расстроился, что не нашёл ответа на Никитин вопрос.

За думами прошла ночь. Коротка она в Сибири летом, не успеет темнота опуститься, как следует, а уже петухи заорали, вот тебе и рассвет близится. Белесым туманом да холодной росой оmyваются первые солнечные лучи. Сначала путаются в тумане, наполняя его светом, а потом разбивают его и начинают искриться в капельках росы. А капли-то разные: большие и маленькие, словно светящиеся фонарики. Светло, торжественно и красиво. Но проходит время, солнце набирает силу и гасит фонарики. Рассеивается туман, высыхает роса, и начинает звенеть прозрачнокрылая и мохнатолапая зелёная братва. Вот и новый день. Вот это точно счастье – встретить новый день.

Трава ещё не обсохла от росы, а Семён уже закончил пахоту. Сделал всё даже раньше, чем думал. Но про себя решил, что Пашка прав: нельзя вспахать это поле за один день. Нельзя. И делал это Семён не из-за бутылок или геройства. Муторно было на душе, а где покой найдёшь, если не в работе? Но не нашлось покоя и здесь, даже больше вопросов появилось. Нет, надо забыть всё и не расстраиваться зря. У него, у Семёна, всё есть: семья добрая, дочери ладные, жена умница. Чего ещё надо? Нет, пора прекращать эти мысли, а то чего доброго и свихнуться можно.

Семён переехал речку, встал на сухом бугорке и заглушил трактор. Посидел несколько минут, привыкая к тишине, потом потянулся и стал вылазить из кабины. Вода в речке была холодная, аж пальцы ныли, но такая вкусная. Семён ополоснул руки, лицо и стал пить, набирая воду в ладони. Потом побрызгал ещё на себя водой и громко крикнул, думая, что в такой ранний час здесь нет никого.

– Чего ревёшь, как бык опоенный? – спросил Панкрат. Конюшня была рядом с рекой, и конюх уже развозил коням овёс. Насыпал его в длинные деревянные корыта прямо из мешка. – Коней перепугаешь.

– Отстань от меня, – прикрикнул Панкрат и оттолкнул от себя совсем маленького жеребёнка с коротеньким кудрявым хвостом.

– Ты у него за матку что ли? – спросил тракторист. – Гляди-ка не отходит.

– Матка евоная вон овёс ест, а он за мной увязался. Ишь ты, стригунок. Жеребёнок подпрыгнул несколько раз, забежал кругами, а потом подбежал к своей матери и принялся сосать кобылу. Мужики засмеялись.

– Гляди: нашёл, – сказал Семён и подумал: – А может, это тоже счастье?

Мужики выкурили по самокрутке.

– Закончил поле, а?

– Закончил.

– Злой ты до работы.

– Чего на неё злиться, делай дело и всё.

– А я ить, понял тебя, для чего ты на спор пошёл. Вот и я тоже спозаранку здесь, почему думаешь? Тоже покоя нет. Чем старше становлюсь, тем беспокойнее делаюсь.

– Чего так?

– А спроси, чего так? Старость, наверное. Головой-то думаю другой раз: вскочить на коня и промчаться по деревне в галоп, курей да собак поугатать. Ан нет, засмеют теперь, скажут: – Старый дурак – рехнулся, проходу не дадут. А у тебя так бывает, ай нет?

Семён долго смотрел на конюха и сказал:

– Я думал, что только у меня всякая дурь в голову лезет. И у тебя тоже? Дела-а. А помнишь?

– А ты помнишь? – и немолодые уже мужики стали вспоминать проделки молодости.

Бригадир поднялся рано. Он уже пожалел, что стал спорить с трактористом. Зная настырный характер Ивашова, можно было понять, что тот умрёт, а дело сделает. И не за водку, просто натура такая, чёрт бы её побрал. Но всё же была надежда, что не сделает, уснёт и проспит или ещё что случится. Работа, конечно, нужная, важная, но забота эта колхозная, а деньги из своего кармана придётся выкладывать. Баба уже грозила скалкой полечить голову от разных глупостей. У неё не заржавеет. Пашка выскочил в огород, из которого было видно поле, и сник. Поле, насколько было видно, оказалось вспаханным. Чтобы увидеть остальное, надо было спуститься на край огорода, до самой горы. Трактора не было слышно, и надежда ещё жила. Но когда бригадир подошёл к горе, перед ним открылась непонятная картина. Трактор стоял на берегу заглушенный, рядом с ним два мужика о чём-то бурно беседовали. Голосов не слышно, далеко, а вот всё остальное как на ладони. Они то сидели мирно, то по одному или оба сразу

вскакивали, махали руками, сгибались пополам, видно, от хохота. Снова садились, но ненадолго. Пашка присмотрелся и узнал Семёна и Панкрата Смирнова.

«Напились, что ли?» – подумал Пашка и поспешил к ним. Но мужики вовремя заметили бригадира, сели спокойно и стали потягивать махорку.

– Что это вы тут вытворяете? – спросил Пашка.

– Ты хоть и бригадир, а здороваться надо. Соплив ещё, – сказал Панкрат, который никогда не выбирал выражений, просто не умел делать этого. И говорил то, что думал любому, несмотря ни на должность, ни на возраст.

– Ну, здорово.

– Не понукай, не запряг.

– Ты, Панкрат, не придирайся к словам.

– Кому Панкрат, а ты ещё мал, я старше твоего батьки.

– Семён, что вы тут делали? – бригадир решил лучше говорить с трактористом, потому что конюха не переговоришь.

– Не видишь? Сидим и курим. Поле я вспахал. К обеду приду в правление – чтоб водка была. Люди видели и слышали спор, а то будешь ахинею нести, как сейчас.

Через три часа пришёл Семён. Бригадир был в правлении один. Работы особой не было: он просто ждал тракториста. Водку он взял в магазине под запись (жена не укараулила), теперь надо было отдать проспоренное.

– Ну? – спросил Семён. Пашка вытащил из стола водку и поставил в ряд. Семён молча стал рассовывать бутылки по карманам.

– Наливай, что ли, – пробормотал Пашка, надеясь выпить. Семён посмотрел на него долгим взглядом и сказал:

– Когда и с кем выпить, я сам решу. А сейчас посевная, и пить – не время. Ты же бригадир, на что меня подбиваешь? – уже улыбнувшись, добавил он.

Осташков Сашка пришёл домой с фронта без ноги. Не пришёл – доковылял на деревяшке. Дома ждала жена и две крохи-дочки. Спасибо, вместе с ними жила тёща, маленькая живая старушенция, лихо справлявшаяся с ребяtnей. Жена Нюра днями пропадала на ферме. Много свалилось на женские плечи: кроме дойки, было ещё много на

ферме разной работы. Приходилось чистить загоны, возиться с телятами, кормить и поить скотину... Было желание бросить всё и не приходить сюда, но скотина не виновата, что рабочие руки наперечёт. Работа выматывала все силы. Иногда Ньюша садилась где-нибудь и плакала от усталости, от беспросветного будущего, от жалости к себе. Ведь не старая ещё, хотелось и принарядиться, и на вечерку сбегать да поплясать. Где теперь эти вечерки?

Когда пришла весточка, что муж Сашка без ноги лежит в госпитале, ревела от радости. Пусть без ноги, да живой. А у других и того нет. Некоторые молодые вдовы стали потихоньку ненавидеть счастливцу. Только счастье-то оказалось несладким. Сашка пришёл домой изменившийся не в лучшую сторону. Когда трезвый бывал, ещё терпимо было, а когда напивался, лупил жену, чем попало. Хорошо, что можно было убежать от безногого. Ревновал сильно. Ходили разные сплетни по деревне: мол, пока мужики воевали, жёнки зря время не теряли, веселились.

Прошло время, уже закончилась война. Сашка немного отрезвел от ревности, но стал «воевать». Как напьётся, так всё «ходит в атаки» или отбивается да зовёт какого-то лейтенанта. Запой продолжались неделями. Он сидел за столом, поставив перед собой трёхлитровку с самогоном, и пил. Орал песни, «воевал» и снова пил. Спал по десять-пятнадцать минут. Итак, неделю, другую, пока не выбивался из сил. Потом просил кислых щей, крепкого чая, и падал спать. После этого месяц или два работал как проклятый. Числился он мельником. Хоть и был без ноги, но сам таскал мешки с зерном наверх по узкой лестнице. Силы хватало. А летом, когда наступал сенокос, лучше Сашки никто в деревне не мог отбивать и настраивать косы. И несли ему все косари свой инструмент под вечер, возвращаясь с покоса, а Сашка аккуратно отбивал их и ставил в ряд на забор. Утром каждый сам забирал свою косу.

– Подай мне сумку, – сказал Сашка жене, недавно вернувшейся с фермы. Она подала холщовый мешочек с лямкой через плечо. Там находилась нехитрая снедь, которую брали все колхозники на покос, во второй сумке у него находился инструмент для отбивки и ремонта кос. Косить сам Сашка не мог: деревяшка проваливалась в землю. А сидеть на таборе и делать срочный ремонт косам – для него было в самый раз. На покос колхозников возили на двух «газиках». В кузове были сделаны скамеечки от борта до борта, на них и располагались работники. В деревне много разных дел, но покос – это дело особенное. Женщины

наряжались в светлые цветастые платья, подвязывали яркие косыночки. Идут утром к правлению разноцветные, словно букетики полевых цветов. Соберутся, галдят, смеются, а как залезут в кузов, так сразу запевают песню. И, причём, на разных машинах поют разные песни. Кто кого перепоёт. Два колхозных шофёра: один молодой, после армии Толик, а другой среднего возраста, Петька, и оба порядочные дурни. Нет, чтобы потихоньку ехать, так каждому надо быть первым, чтобы не глотать пыль. Вот и форсят друг перед другом да перед девками, какой из них лучше. Рванут с места и летят. А ехать по одной дороге всего с четверть километра, потом дороги расходятся. Девки немного повизжат в кузове, а потом опять поют – привыкли. И расходятся песни по полям, удаляются машины с цветными платьями в кузовах, словно с букетами цветов, исчезают в клубах пыли. Оседают пыль, затихают песни, и наступает тишина, будто и не было ничего. Сашка садился в кабину, с деревяшкой не поскачешь по кузовам. Да и не любили люди ездить в кабине – тесно, а на кузове веселее. Компанией работать – милое дело, «гурьбой и батьку легче лупить», как поговаривали старики.

Девки выпорхнули из кузова и стали расходиться по полю, проверяя скошенное сено, когда его можно будет переворачивать. Потом берут косы и быстрее в прокос. Последним в прокосе быть – засмеют. Вот и стараются пойти впереди, да не подпустить к себе следующего, чтобы не орал вслед:

– Берегись! Пятки порежу!

На ровных полях косили конными косилками, но копнить и ставить зароды приходилось вручную. Конными граблями собирали валки, подтаскивали их в одно место, а там специалисты ставили большой зарод сена. Кому попало не доверяли это дело. Неправильно завершишь стог – пробьёт его дождём, промочит, и сгниёт сено.

Сидит Сашка под кустиками в тенёчке, разложив свой инструмент. Подходят и молодые, и в возрасте косцы и просят:

– Дядя Саша, посмотри, валит, а не косит.

– Саня, поправь немного, кусты зацепил.

– Дядя Саша, коса болтается.

И всем Сашка делает, регулирует, правит оселком, отбивает, меняет клинышки. И каждому улыбнётся да слово доброе найдёт:

Вот так целый день. Нужный здесь всем, тем и живёт да не обращает внимание на отсутствие ноги. И в запои Сашка никогда не ходит в страду: перед людьми неудобно.

В обед все поразбрелись по разным сторонам отдохнуть. Сашка прислонился к толстой берёзе на краю поля и закрыл глаза.

Забрали его армию в конце сорок первого. Привезли в Кемерово, там определили в часть и обучали военной науке. Достался Сашке станковый пулемёт «максим». Закрепили его первым номером, дали помощника и стали они на пару таскать достаточно тяжёлый воинский инструмент. Научились стрелять как положено, быстро занимать выгодные позиции.

Пришло время, загрузили их часть в теплушки и повезли на фронт. И попал Сашка в самое пекло, под знаменитый город Ленинград. Бои были страшные, врукопашную ходили едва ли не каждый день. Поначалу не до пулемёта было, винтовкой управлялись, да и не было пулемёта. Свой-то разбило миной в первом бою, как только сами уцелели. В затишье побежали по нужде на конец окопа, а тут шальная мина хлоп, и пулемёт скрутило в узел. Прибежал молоденький лейтенант Ванин, на фронте тоже без году неделя, посмотрел на пулемёт:

– Повезло. Ну, ничего, товарищ Осташков, сам живой, а пулемёты подвезут. Пока с винтовкой управляйтесь. И управлялись. Однажды в рукопашном бою Сашка получил прикладом сзади по голове и потерял сознание. Очнулся в темноте, не понимая происходящего. Когда осмотрелся, увидел, что где-то заперт.

– Живой? – вдруг услышал знакомый голос.

– Кто это?

– Я, лейтенант Ванин.

– Где мы? – спросил Сашка. Голова болела так, что разговаривать было больно, не то что повернуть.

– Захватили нас. Похоже, мы в землянке заперты, я двери пробовал открывать, не поддаются.

– Давно мы здесь?

– Уже темно на улице, значит с полдня.

– Ничего не помню, – сказал Сашка, потирая голову. Боль начинала понемногу отпускать.

– Тебя волоком тащили, ты только стонал.

– А ты как попал?

– Меня миной оглушило. Пока очухался, смотрю – вокруг немцы.

– Что делать будем?

– Пока не знаю, – ответил лейтенант. Если хочется пить, там, в углу, снег задувает чистый, я уже ел его. Только сейчас Сашка почувствовал холод. Пока только первые приступы, но он знал, что понемногу холод

начнёт занимать всё тело, если не двигаться, а здесь места просто не было, чтоб расходиться.

– Давай прижимайся ко мне, а то замёрзнем, – сказал он Ванину. Лейтенант пододвинулся, видно, он давно уже мёрз. Прижавшись друг к другу, они немного согрелись, движения перестали приносить боль.

– Немцев не слышно.

– Подходили, пока ты был без сознания, поговорили чего-то и ушли. Теперь тихо.

– Может, забыли про нас? – спросил Сашка.

– Немец – солдат серьёзный, ничего не забывает. Некогда пока, а потом придут, увидишь.

Так они промучились всю ночь. На улице было тихо. Когда стало рассветать, на позиции немцев обрушились снаряды. Били наши. И били настолько хорошо, что земля ходила ходуном. Один из снарядов упал рядом с землянкой, где были пленники, и разворотил угол крыши. Им повезло – осколки пролетели мимо. Сашка выглянул из отверстия, не дожидаясь окончания обстрела. Снаряды рвались уже в стороне.

– Лейтенант, давай отсюда, пока никого нет, – сказал он. Ванина уговаривать не надо было. Они быстро выбрались из землянки и поползли в сторону своих окопов. Время тянулось долго. Уже закончился обстрел, а они ползли, ожидая каждую минуту выстрелов вдогонку. Но их всё не было. И вот пошла в атаку наша пехота. За тремя танками, рассредоточившись, молча бежали солдаты.

– Осташков, – окликнул лейтенант, – давай сюда, он показал на глубокую воронку. Когда они плюхнулись туда, Ванин сказал:

– Слушай, Осташков, кто бы ни спрашивал, не говори, что мы были у немцев, скажи, что хоронились в воронке. Мол, очнулся, никого, чтобы не попасть к немцам, ночь просидели в воронке. А утром атака, и свои выручили. Ничего не спрашивай, потом увидишь, что я был прав. Затаскают особисты, не возрадуешься, а так спросят, настаивай на своём – отстанут.

– Но ничего не было, – попытался возразить Сашка.

– Потом спасибо скажешь, поверь мне, я знаю, что говорю.

Так и случилось, как сказал лейтенант. Их отсутствие было замечено, и особый отдел вызвал на допрос. Сашка рассказал, как учил лейтенант. Через день снова рассказал всё то же самое. Поверили и даже пожалели, отправили на кухню подкормиться. А через несколько дней привезли пулемёты, тут и вспомнили, что Осташков пулемётчик. И стал Сашка ходить в засады. Выманят пехотинцы немцев из окопов, делают

вид, что убегают, те за ними, вот тут и встречаются их пулемёты огнём из засады. Складно получалось, но недолго. Немцы высмотрели засаду да дали по ним из миномётов, мины ложились кучно, а убежать было некуда. Тогда и срезало осколком Сашке пятку. Сначала не понял, стукнуло – и всё, но потом пришлось терпеть боль до потери сознания. Пролежал до темноты, солдаты не бросили, вытащили. А там начались мытарства по госпиталям. Сначала отрезали ступню, потом до колена. Повалялся по госпиталям, посмотрел да послушал солдатских историй. Вот тогда и вспомнил лейтенанта Ванина. Сколько раз говорил ему спасибо, когда слушал рассказы про то, как особый отдел мордовал солдат и офицеров за разные подозрения. И случилось всё это с Сашкой Осташковым на Вороньей горе, под славным городом Ленинградом, который ему так и не довелось посмотреть...

- Дядя Саша, поправь косу, – раздалось над ухом.
- Дядя Саша, а у меня в граблях зуб сломался, надо заменить.
- Сашка, поторапливайся, люди ждут.
- Сашка...
- Дядя Саша...

И так весь день.

Вот мчится опять машина в деревню, несётся песня по полям. Слышно далеко, звонко. Потом осядет пыль, кончится песня, разойдутся люди по домам делать свои нехитрые дела, только до самой темноты будет стучать молоточек Осташкова Сашки, словно продолжение песни.

- Сашка, иди уж ужинать, остыло всё, – позовёт жена.
- А квасу у нас нет? – спросит Сашка, знает, что есть, а спросит.
- Чего ж нет? Есть. Сейчас принесу. И принесёт большой ковшик хлебного кваса, кислого, аж на зубах скрипит, да только лучше не бывает. Пил бы да пил. Выпьет полковша, крикнет да скажет:
- Собирай-ка чего на стол.
- Собрано всё, платочком накрыто. Иди уже.

5

- Надь, а Надь? Надя, ты где?
- Ну, чего тебе?
- Ты не видела мою фуражку, всё обыскал, нет нигде. Так, на колу висит, где я кринки сушу.
- Чего она там?
- Ты и повесил. Вчера в баню шёл и бросил её на кол. Забыл что ли?

– И верно. Вот голова пустая.

Иван Аришин накинул фуражку и пошёл со двора. День занимался жаркий, без фуражки никак нельзя. Иван направился в столярку, стоявшую на краю деревенской площади, где стояла вся техника. С одной стороны – трактора, с другой – плуги, установленные на деревянные бруски и круто смазанные солидолом. Напротив громоздились косилки, сеялки, культиваторы и другая колхозная техника. Недалеко расположилась рубленая избушка с высоким крыльцом. Ничего примечательного в ней не было: крытая драньём небольшая избушка покосилась, как у нерадивого хозяина хата. Рядом находился большой сарай, загороженный на три стороны горбылём. В сарае был пол, поднятый над землёй на четверть метра, уложенный на крепкие балки. Здесь сушился пиломатериал, разные заготовки из берёзы, осины и ёлки... В самой столярке стоял добротный деревянный верстак и электрический наждак. Над верстаком аккуратно лежали на полочках, висели на стенке различные инструменты, которые никто не трогал без позволения столяра. На столе стоял закопченный алюминиевый чайник и несколько железных кружек, чёрных от заварки.

Иван раскрыл настежь широкие створки двери, зацепил на скобу замок. Замыкали для порядка, больше от шkodливых свиней, которые зайдут и всё перевернут. Все мужики знали, где лежат ключи, но открывали по особой нужде, а не ради баловства. Присев на скамейку, Иван свернул самокрутку и закурил – любое дело начинается с перекура. Работы было много. В свинарнике надо было поменять сопревшие окна. Там всегда сыро настолько, что окна «потеют» и зимой и летом, потому и гниют быстро.

Затушив окурки и бросив его в специальную банку, Иван принялся за работу. До обеда время пролетело незаметно. Количество рам, стоявших в углу, прибавлялось. Иван заканчивал очередную раму, как пришёл Панкрат.

– Здорово, – буркнул он.

– Здравей видели, – ответил столяр. – По делу зашёл или так?

– И так, и дело есть, – Панкрат полез за кисетом. – Дело не срочное, к зиме надо.

– Чего случилось?

– Пацаны катались на кошёвке, повывёргивали оглобли и бросили их, а трактор притащил солому на конюшню и проехал по ним.

– Крючья целые?

– А чего им станет, они же железные. Я потом занесу.

– Ну, давай тогда закурим что ли, – сказал Иван, отставляя готовую раму.

– Ловко у тебя получается. Надо тебе заказать рамы в дом, тоже подгнивают.

– Зимой можно и сделать, а сейчас работы много.

– Зимой так зимой, – согласился Панкрат.

Они закурили молча, словно боялись спугнуть какую-то торжественность в этом деле.

– Чего нового слышно в деревне? – спросил Иван. К Панкрату ходило больше людей, и каждый считал нужным рассказать всё новое конюху, поэтому он был всегда в курсе всех новостей.

– Один мужик заезжал с соседней деревни, говорил, что был у них Ванька Белов по какому-то делу, рассказывал, что в городе заваривают кашу против Никиты Кондрашова.

– А какую кашу можно заварить? Чего он такого сделал? По морде дал, дак это что – редкость? Парни по вечерам на кулачки выходят, что теперь, дело на них заводить?

– Кто его знает, говорил мужик, что вроде бы судить его приедут сюда. Судья да всякие другие с ним.

– Иди ты! – удивился Иван. – Может, брешет твой мужик?

– Может, и брешет, поди, проверь сейчас. Но я так думаю, если и вправду приедут, то вляпают Никите штраф. Да не рубль или два, гляди, что рублей полста.

– Это как пить дать. В такую даль просто так не поедут. Видишь, как дело обернулось, а? И чего надо? Синяк давно прошёл, рубаху Таисия купила, теперь ещё и нервы помотать надо.

– Партийный с города – свидетель, вот в чём беда.

– А Ванька участковый? Не мог уладить? Никита не бандит.

– Значит, не мог. Ты же Белова знаешь, зазря не стал бы шум разводить. Не такие дела улаживал миром. А это что?

– Дела... – Иван опять закурил, разволновавшись. – Законы, мать вашу!

– Закон что дышло, как партийный захотел, так и вышло. Чёрт его принёс.

– И Толянка хорош. Чего лезешь к медалям – не ты заработал, не тебе лапать. Правильно Никита врезал ему! Надо было больше.

– Так-то оно так, да как бы беды не было.

– А у меня нет наград боевых, только юбилейные, – сказал Иван. – Я воевал топором. Мосты да переправы городил. Немца вблизи не видел живого. Врукопашную с ним не сходил.

– Да, тебя пускать нельзя было против них, – хохотнул Панкрат. – Ты на медведя с оглоблей кинулся – мужики его насилу нашли в болоте через неделю, а где немцев потом пришлось бы искать?

– Ладно тебе, – смутился Иван, вспомнив, как, схватив багор, бросился на медведя, дравшего корову. – Там корову жалко стало.

– Во-во, кто б немцев потом пожалел? – улыбнулся Панкрат. – А знаешь, у меня тоже нет боевых наград. Я автоматчиком был, да что толку? В первую атаку пошли, как гроыхнуло позади, очнулся, а кругом немцы автоматами машут. Руки поднял да пошёл. Много нас тогда оказалось в плену. Мы в атаку, а по нам из пушек как дали! Раненых и контуженых собрали немцы потом. Под городом Кёнигсбергом это было.

– Мы же в Кемерово вместе были на формировании.

– Да я знаю, там много с нашего района было. Только мы в разные части попали. Сашка Осташков тоже в Кемерово был, только раньше нас. Его почти сразу забрали, а меня с тобой много позже. Я с ним разговаривал.

– И чего дальше было с немцами?

– А чего? Всю ночь вели куда-то, под утро пришли мы на место, там уже был лагерь, огороженный колючей проволокой. Народу полно, все тощие, едва ползают. Трупы в сторонке валяются. И вспоминать не хочется. Страшное дело. Это в кино – герои кругом, а на самом деле дерьма хватало, да обо всём разве расскажешь?

– Свои освободили?

– Не-е, убежали. Несколько снарядов прилетело шальных, завалило две вышки с охраной да порвало проволоку с одной стороны. Это уже месяца три прошло, как я был в плену. У кого силы были идти, рванули. Человек тридцать нас, наверное, было. Бежим, ну, кажется, быстрее ветра, а присмотреться, как моя кобыла Рыжка, трюх-трюх-трюх. Немцы погоню почему-то не отправили, так и убежали мы. Дело было к концу войны, зимой сорок пятого. Отлежались в лесочке, на хуторе спёрли ведро картошки, стояло возле хлева, наверное, для скотины, и начали печь её на костре. А не посмотрели, где находимся. Герои, что ты! А там такое место: с одной стороны – озеро, а с другой – какой-то бугор. Меж ними расстояние метров с десятков, вот здесь мы и обосновались. Просто в этом месте нашлись дрова, да и устали мы сильно, и картошка покоя не давала. Спекли её родимую, подъели, тут уж и вовсе осмелели.

Развалились, кто уже и прикорнул, только глядь – немцы идут. Строем какая-то часть идёт с той стороны, куда мы направились. Усталые, измотанные, но с автоматами на шее, а мы, как сидели, так и не поднялись. Растерялись. Кто и с жизнью стал прощаться. Бежать-то некуда, вот никто и не побежал, видно, это и спасло. Немцы, наверное, не подумали, что мы беглые, вот и прошли мимо. Только некоторые взглянули в нашу сторону, а другие и не смотрели. Мы потом ещё долго сидели, как замороженные, больше не отдыхали возле дороги, прятались. И недолго мы бегали, на другой день вышли к своим. А там начались проверки, допросы разные. Кто помоложе – на фронт вернули, а меня отправили на работу на военный завод в Люберцы, рядом с Москвой. Там и Победу встретил, но ещё до сорок шестого года работал. Дали отпуск – поехал сюда, своих навестить. У меня уже сыну второму было семь лет, первый помер ещё до войны. Побыл дома, по пьянствовал, как водится, по дому сделал кое-чего. А тут приходят ко мне председатель сельсовета Глоткин, колхозный председатель, покойный нынче, Веселов. Говорят, давай, мол, Панкрат оставайся работать в колхозе, мужиков-то нет, одни бабы. Мы тебе справку дадим, если что, печать поставим. А мне ещё и лучше: здесь дом, семья. Согласился я. Дали они мне бумагу, печать поставили, как положено. Работаю я в колхозе, а месяца через три приходит запрос на меня из военкомата. Где там Панкрат Смирнов? Я же работал на военном заводе, а там – режим. Не явился в срок, значит, дезертир. И запрос кому? Председателю колхоза. Он тут и смекнул, что дело хреновое. Приезжает ко мне Глоткин, говорит:

– Мы потеряли справку, дай свою для отчёта. Я и не подумал, дал справку, а через неделю приехала милиция и представители из военкомата. Забрали меня. Никто и не стал слушать о справке. Быстро осудили меня за дезертирство и дали четыре года лагерей. Отбыл, правда, два, амнистия вышла, а через пять лет и вовсе сняли судимость.

– Я помню, как ты пришёл из тюрьмы, я тогда уже демобилизовался. Долго бегали от тебя председатели.

– Бегали, боялись под горячую руку попасть. Потом пришли домой, принесли самогонки, оправдывались, прощения просили. Под самогонку душа добрая, простил. Делать нечего. Но по одному мимо меня не ходили. Тогда и попросился я на конюшню. Здесь сам себе и председатель, и сельсовет.

– Я тоже добра не видел, – сказал Иван. – На фронте я был мало, правда, слышал, как пульки цвыркают над головой. Как границу перешли

с Польшей, так и остались там. Восстанавливали, строили, я ж говорю – воевал я топором. Потом после войны ещё долго ездили с частью да строили разное, войной порушенное. В основном, мосты да разные дорожные здания. И разминировали наши ребята много, но там специалисты были. Много ребят погибло от мин уже после войны. Вот и подумаешь: был я на фронте или не был. Другие смеются, мол, проболтался в тылу и всё.

– Дураку не объяснишь, а кто знает да видел это, так и объяснять не надо. Шумкину хоть кол на голове теши – много с него возьмёшь?

– Здорово, вояки! – сказал Митрий Кузнецов, заходя в столярку. – Иду мимо, слышу: кто-то бубнит. Прислушался – воюете. Дай, думаю, зайду, покурю за компанию. Я сегодня один, никто не идёт.

– Закуривай, – протянул кисет Иван.

– У меня и свой есть, но твоя махорка вкусней.

– Чем это?

– Чужая, она всегда вкусней, – усмехнулся Митрий.

– Это верно, – сказал Панкрат.

– Слышал, дело какое, – и Иван поведал историю, рассказанную Панкратом про участкового. – Как ты думаешь, может такое быть?

– Хреново дело, если так выйдет, – Митрий почесал голову. – У них может чего хошь быть. Вот и спрашивал Никита, за что воевали, за какую красивую жизнь? Эти прилипали во все времена были и будут. И ничего им не делается. В колхоз бы их поработать на год, да заплатить за трудодни, тогда бы посмотрели: на каких деревьях хлеб растёт. А в городе чего не жить? Недавно был в районе, встретил однополчанина – воевали вместе. Разговорились. Он работает на железной дороге посменно. Зарплату имеет хорошую, нам за два месяца не заработать, да ещё и хозяйство держит своё. Поросятка, кур, кроликов, огород засаживает, у него десять соток своих. Расспросил я его хорошенько, налоги платят или нет. Оказывается, ничего не платит, всё, что вырастит, для себя. Чего и на базаре продаст, всё копейка. Жену с детишками на курорт отправлял, старшего сына в институт пристроил учиться. Вот ить как. А воевали мы вместе с ним. Считай, в одном взводе были. Мне, дураку, надо было тоже остаться в городе, жил бы по-человечески. Однополчанин говорит, что у них в депо кузнечный цех хороший есть; молоты, вроде, сами хлопают. Я его, было дело, вытаскивал на себе раненого. Не столько ранили, сколько оглушили. В себя пришёл, а сообразить не может, что с ним. Норовит на бруствер да к немцам. Врезал ему, чтоб он сознание потерял, на себя взвалил да оттащил в

санчасть, пока затишье случилось. Потом он смеялся, говорил, чтобы я больше его не бил, не хочет молотком по голове получать. Мы и приехали с войны вместе, звал он меня тогда остаться в городе. А я-то чего? Мне деревню подавай, простора захотелось. Ему я ничего не сказал, а вам, вот, говорю. Неправильно что-то в жизни. А тут ещё Никита спросил тогда про светлую жизнь. Теперь покоя нет. Понимаю, что ничего не вернёшь, а червячок точит и точит. Другой раз радуюсь, что ко мне начальство редко заглядывает, веришь – нет, убить готов за их руководство. Возьми Пашку, ну какой он руководитель?

– Так пошёл бы, тебе же предлагали, – сказал Панкрат. – Сделал бы как надо.

– В деревне можно сделать, а в колхозе? Смотри, кто там правит, что там делают? Умеют только рапортовать и докладывать, а самое главное, районному начальству в рот заглядывать. Районное смотрит в рот городскому и так дальше по цепочке. Радио послушаешь, так у нас всё есть в стране. А где оно, это всё? Чего-то не видно. И для чего я пойду в рот председателю заглядывать? Нет, я лучше у себя в кузнице.

– Мить, у тебя же есть боевые награды? – неожиданно спросил Иван.
– У нас с Панкратом нету.

– Да, есть медали. Две, одна за «Отвагу», другая – за «Боевые заслуги».

– Значит, герой?

– Какой там герой? Атаку отбили, танков нажгли, командиру – орден, солдату – медаль. Обыкновенная работа, – Митрий подозрительно посмотрел на мужиков и сказал:

– Ничего рассказывать не буду! И не просите!

– И не просим, чего это ради? – сказал Иван. Мужики помолчали, потом Митрий сказал:

– Как начну вспоминать, так дело до слёз доходит. Сиж, плачу, что ребёнок. Столько людей положили, что диву даёшься, и никто не ответил. Война всё списала.

– Немец – вояка серьёзный.

– Немец-то, ладно, а своей дурью сколько положили. Мы хоть в атаку не ходили, артиллерия всё ж, а ребят под пулемёты отправят да считают, сколько у немцев этих самых пулемётов и где стоят. А что потом целое поле усеяно трупами, до этого никому дела нет – война. Страна большая, людей много – можно и на пулемёты гнать. Вон у нас было: приказал новенький командир занять позицию против танков на открытом месте, замполит спорил с ним, но где там? Грех так говорить,

но, слава богу, его шальным снарядом убило. Мы отошли всего на пятьдесят метров под укрытия и перещёлкали танки, как орехи. Тогда и дали медаль. То место, где должна была быть позиция, перепахали снарядами, а мы на новом месте обошлись без потерь. Ведь, что надо было – отступить на пятьдесят метров – и всё. Я вот что скажу: пошли, мужики, война кончилась, пора на обед.

Иван прикрыл двери, в проём воткнул колышек, от скота, и направился домой. Митрий с Панкратом ушли пораньше. У дома в луже копошились гуси, возле палисадника в песочке дремали куры, а рядом с ними спал кобель Тузик. Будучи преклонного возраста, он давно не обращал внимания на домашнюю живность. Еды хватало, воров не было, а всё остальное его не касалось. Иван открыл калитку во двор, Тузик даже не открыл глаза.

– Совсем обнаглел, Тузик, хозяина встречай! – кобель открыл глаза, вильнул хвостом. – Ладно, спи уж.

– Пришёл? – спросила жена. – Я как раз окрошки приготовила да картошки круглой наварила – давай к столу.

– Сейчас, – Иван подошёл к рукомойнику, плеснул из ведра воды и хотел было помыться, но потом пошёл к деревянной кадучке с водой и опустил голову в воду. Пофыркивая, ещё несколько раз окунулся, стряхнул с волос капли.

– Полотенце возьми, – подала Надя. – Спарился?

– Хорошо, – сказал Иван, – теперь можно и пообедать.

– Иди, окрошка свежая, я квас из подвала достала, там попрохладней. Смотрю сегодня: огурчики подросли, дай, думаю, окрошки сделаю, наскучались с прошлого года. Куры, чего-то плохо стали нестись, пошла яиц набрать на окрошку, едва хватило. Может, кто приворовывает, хорёк завёлся?

– За день сколько тебе должны нанести? Я вчера на яишню брал, тебя не было дома.

– И то. А я думаю, случилось что.

– Чего в деревне слышно? – спросил Иван за столом.

– Ничего не слышно. Да я и не ходила никуда, – сказала жена. – Да соседка забежала, сказала, будто повесили объявление у магазина: суд приедет через неделю, Кондрашова судить. Разве такое может быть?

– Значит, правду говорил Ванька Белов. Достанется Никите на орехи, – сказал Иван. – Вот жизнь, мать её! – ругнулся он и пошёл на улицу.

В столярке Иван остервенело принялся за работу. Словно старался выместить всю свою злость на деревяшках. Только потому, что он был

неплохим специалистом, ничего не сломал, не испортил. Постепенно успокаиваясь, он поставил последнюю раму, собранную из заготовок. Другие заготовки делать не хотелось, не то настроение, поэтому Иван принялся стеклить рамы. Стекло для рам стояло под замком в специальном ящике. Закончив стеклить, Иван завернул добрую самокрутку и сел на крыльцо покурить. В это время пришёл бригадир Пашка.

– Здорово, – сказал он и присел рядом. Пашка курил папиросы «Прибой». Маленькие папироски с ядрёной начинкой.

– Утром виделись, – буркнул Иван.

– Много ещё рам осталось?

– Ещё столько же, только заготовки закончились, завтра с утра строгать начну.

– Через неделю закончишь?

– Сделаю.

– Слышал, через неделю суд будет над Никитой? – спросил бригадир.

– А ты и рад? Чему радуешься? Никита и так еле живой, так нервы ему мотать ещё надо!

– А чего? Я ничего. Там наверху так решили. Я ничего, – Пашка поднялся и стал пятиться.

– Ну-ка, иди отсюда, а то возьму черенок да пособлю малость!

– Ты чего, сдурел? На людей кидаешься ни с того ни с сего.

– Это ты – люди? Ну, мотай отсюда!

– Я бригадир, куда хочу, туда и хожу, – сказал Пашка и быстро побежал от столярки, потому что Аришин уже взял черешок от вил и кинул вдогонку, но не попал.

– Тебя тоже надо судить, все вы одинаковые: слова не скажи! – кричал Пашка издалека.

«Действительно, чего сорвался на бригадира? – думал Иван, немного успокоившись. – Ведь, по большому счёту, Пашка и не причём. Да, вот только через таких «пашек» и идёт всё как попало...

Новость всех огорошила. Из деревни шёл Панкрат.

– Ты что ль шуганул бригадира? Бежит – сам не свой, прямо в правление, звонить, никак, собрался куда?

– И хрен с ним, – обречённо сказал Иван. – Вишь, пришёл ко мне сказать новость про суд, довольный. Я ему радость чуть было не отбил, не попал черенком, а то не бегал бы, а ковылял.

– Не связывайся ты с ним. Поганая натура у него. И в кого только? Батка, вроде, был мужик как мужик, но этот... Моя бабка говаривала:

«Есть дураки пётнышками, а этот саплашной». Вот и выходит, что бригадир наш – сплошной дурак. Пойдём в кузницу, там мужики собрались, я самогонки добыл немного.

– Сейчас, столярку прикрою, – сказал Иван и стал собирать инструмент.

– Подходи, – сказал Панкрат и направился в кузницу.

Возле кузницы на чурках сидели мужики, словно и работы не было. Правда, и время было уже не раннее, но в колхозе кто его нормировал, рабочий день? Мужики молча пили самогон и курили. Пили и курили, будто этим самым пытались доказать всем, что всё неправильно. Сюда к ним и подъехал на милицейском мотоцикле участковый Ванька Белов.

– Молодцы, – сказал он, оглядывая молчаливую компанию. – Давно пьёте?

– А тебе чего? – вызывающе спросил Витька Кузин.

– Ты мне зубы не скаль, соплив ещё.

– Тебя бригадир вызвал? – спросил Панкрат.

– Он звонил, хотел в город сообщать, но я ему запретил. Мужики, вы что творите?

– Ох, и дерьмо Пашка, – сказал Панкрат. – Надо отучать жалобиться.

– Во-во, знаете, что дерьмо, а что творите, – Ванька присел на чурку. Мужики смотрели на него и ждали, что он скажет.

– Иван, я тебя прошу, как человека, не трогай ты его. Гнилой он мужик, не стоит того.

– Ладно, так получилось. Психанул чего-то. Выпьешь с нами?

– Давай, – сказал Белов, снял фуражку и положил рядом. – Ну, за Никиту, чтобы обошлось. Верите, что мог, сделал, но против танка с вилами не попрёшь.

– Ладно, Вань, не трави душу, и так хреново.

6

В то августовское воскресное утро и погода была не ахти какая. Частые белые облака неслись на северо-восток быстро и уверенно, а ветра особого и не было. Возле клуба медленно собиралась толпа. Уже за два часа до срока вокруг на перевёрнутых чурках да на непиленых хлыстах сидели любопытные. Суд был назначен на двенадцать часов, дорога из города длинная, пока доберутся да отдышатся – вот и будет полдень. А народ всё подходил. Собирались компаниями. В одной весело травили байки да смеялись, там стоял Толянка с женой Лушкой.

Он тоже пытался шутить, сам смеялся над своими остротами. Сегодня был его день: он в центре внимания. Из-за него собралась толпа народу здесь, и закон будет защищать не фронтовика и героя, а его, Анатолия Шумкина. В другой стояли пожилые женщины, они горестно вздыхали, своим житейским чутьём они понимали, что не к добру это сборище, но говорили больше о делах житейских: о скотине, об урожае, зреющем в огородах, о детях, которые хулиганили, болели да росли очень быстро, вырастая из одежды, чем делали проблемы родителям. Но и ещё была компания, в которой мужики сидели и курили, настороженно поглядывая в сторону горы, откуда должна показаться машина. И молчали, потому что не желали зря говорить и строить догадки: придёт время, и всё решится – вот тогда и можно сказать слово. А сейчас чего?

Машина появилась в половине двенадцатого. Толпа вначале зашумела, а потом затихла настороженно, «газик» медленно катился по полевой дороге за огородами, оставляя длинный шлейф пыли. Гравием дорогу засыпали только до деревни, там и следили за ней, пару раз за лето ровняли ямки, а до самой деревни никому не было дела, вроде, как это дело только самих сельчан. Наконец, машина свернула к клубу. Видавший всякое старенький «газик», крытый тентом, на какое-то время покрылся облаком пыли, догнавшей его. Через некоторое время из неё стали выбираться прибывшие. Среди них были из знакомых только участковый Ванька Белов, председатель сельсовета Глоткин, из других выделялся дородный мужчина с пышной тёмной шевелюрой и с седыми усами да девица в брюках. Девица привлекала особое внимание: в брюках в деревне ходили только мужики, поэтому её вид был непривычен. Вся делегация, кроме участкового, прошла в клуб. Он подошёл к мужикам и поздоровался.

– Никита пришёл? – спросил Ванька, оглядывая толпу.

– Здесь я, – откликнулся Кондрашов. Разглядывая машину и прибывших, никто не заметил, как он подошёл и встал в сторонке.

– Здорово, Никита, – участковый демонстративно подошёл и поздоровался с Кондрашовым за руку. Пусть все видят, что работа работой, а человеком нужно оставаться, пусть знают, что он, Иван Белов, против всего этого цирка. Никита молча кивнул и подал руку участковому.

– Пойдём в клуб, так надо, – сказал Ванька и повёл Кондрашова.

– А я? – крикнул Толянка, крутя головой по сторонам и выискивая поддержку сельчан.

– Успеешь! Надо будет, вызовут! – отрезал Белов.

Приехали судья Николаев, заседатель Плишкин да секретарша Верочка. Второй заседатель не явился, пришлось взять председателя сельсовета как человека, знакомого всем здесь. Документы были подготовлены, оставалось только вписать кое-какие детали и проводить суд. Хотя и само решение тоже было известно судье. Перед этим Никиту вызывали в райком и проводили беседу.

На сцене стоял стол, застеленный красной материей, хранившейся специально для торжественных собраний. Для судьи и заседателей поставили скамейку, потому как стульев в деревне не было ни у кого, кроме Ивана Аришина. Но на просьбу бригадира принести стулья для суда Иван ответил отказом.

– Я их лучше топором изрублю, чем сюда принесу, – хмуро сказал он.

Только секретарше Верочке принесли табуретку из кинобудки. Застелили газетой и поставили сбоку от стола, чтобы вела протокол. Никиту, как «главного злодея», посадили у окна: пусть народ смотрит. Ну, а главного «героя» пристроили в тёмном углу:

– Чего на него пялиться, его и так все знают, – буркнул Ванька, рассаживая потерпевшие стороны. Когда соблюли все пункты протокола, пригласили зрителей. В передние ряды рванулись самые любопытные. Посередине заняли места женщины да менее любопытные, мужики, как всегда, определились позади. Мест хватило всем, клуб и делался из расчёта на всех жителей, любивших смотреть нечастое кино. Подсудимому и пострадавшему досталось по целой скамейке. Шумкин ёрзал, не находя себе места, не мог успокоиться. Может, больше никогда и не придётся вот так быть на виду у всех. Даже на Пашку, бригадира, и то не смотрят так, как сегодня на него. Его просто распирало от счастья. Никита сидел, склонив голову. Чёрный поношенный, но ещё хороший пиджак был распахнут, тёмная однотонная рубашка тоже расстёгнута на одну пуговицу. На левой стороне пиджака висели, едва позвякивая при движении, потемневшие боевые медали да блестящие юбилейные. С правой стороны сиял орден «Красной Звезды», отражая свет из окна прямо на судейский стол. Солнце периодически скрывалось за облаками, и солнечный зайчик, как маячок, сигналил о беде. Первым это заметил Панкрат. Он молча подошёл к Никите, шепнул что-то ему на ухо. Никита взглянул на орден и повернулся боком к окну.

– Встать! Суд идёт! – громко сказала Верочка. Все встали и затихли. Суд вышел из загородки, что была сделана за сценой для артистов. Первым шёл Глоткин, гордо подняв голову, показывая свою значимость,

за ним – судья Николаев, и последним семенил Плишкин. Они медленно расселись и стали разглядывать бумаги.

– Слушается дело..., – голос судьи уходил куда-то в глубь сознания, становясь всё тише.

Никита вдруг почувствовал себя молодым, здоровым разведчиком, которого любили за силу и ловкость. У них в взводе были разные люди. Если рассмотреть по одному, то многих и близко нельзя было подпускать к разведке, а вместе – это была серьёзная сила. Взять Ваську Дыма, дружка из района, смотреть не на что, пополам сломать дважды два. Но попробуй, поймай его. У него наглости одной на целый взвод, а языком чесать – артистов не надо. Он из тех парней, которых посылают похлопотать о драке во время пьянки. Он из тех, кто сначала делает, а думать – это как придётся. Человек с чистой детской душой, без всякой подлости, хоть и шептливой. Из Никиты да Васьки получилась хорошая пара в разведке. Вспомнилась первая разведка. Выходили из вражеского тыла пустыми: немец, которого тащили два дня, помер. Немецкого унтер-офицера взяли далеко от линии фронта прямо из-за стола. Немцы сидели и пили шнапс, раскрыв окна деревенской хаты. Бояться некого, далеко фронт, вот тут и взяли их тёплыми. Ребята из группы, в которой были Никита с Васькой (они стояли на прикрытии), прямо в окно полоснули очередями из автомата, положили всех, кроме этого унтера. Он забился под стол, откуда его и вытащили. Скрутили быстро и удалились благополучно. Ночь шли, а днём отлёживались в лесу. К вечеру, только собрались уходить, прилетела шальная мина и уничтожила все труды. Немец умер не сразу. Он ещё два дня подавал признаки жизни, и вот затих. Пришлось бросить. Решили возвращаться, потому что окно в проходах через линию фронта было назначено на сегодняшнюю ночь. Но до ночи нужно было идти ещё половину дня. Командир приказал разделиться по двое и разойтись на километр друг от друга. Таким образом, три группы словно прочёсывали территорию, надеясь на удачу. Повезло Никите с Васькой. На небольшом ровном участке дороги, которую им предстояло перейти, они напоролась на небольшую колонну. Впереди ехал мотоцикл с пулемётом, позади – легковой «опель», и за ним – ещё мотоцикл.

– Берём? – спросил Никита, но Васька уже бросил гранату в задний мотоцикл, по переднему полоснул из ППШ. Хорош автомат тем, что в магазине много патронов, да и бьёт густо. Никита ударил по переднему мотоциклу – немцев разбросало в разные стороны. На какое-то время наступила тишина, вдруг открылась дверка, из машины выскочил

офицер с портфелем и кинулся прямо на разведчиков. Видимо, что-то перепутал или не соображал от страха. Никита одной рукой слегка ударил немца по голове, чтобы сильно не сопротивлялся, но шёл сам, другой выхватил портфель. Немец совсем ошалел, стоял, ворочал глазами и вдруг стал икать. В это время из-за поворота показался бронетранспортёр, сопровождавший колонну. На мгновение, которого хватило разведчикам, он отстал от колонны. Васька больше для острастки швырнул навстречу немцам две гранаты подряд, схватил немца за руку, резко потянул через дорогу в лес. Никита подхватил другую руку, и они втроём, как дружная компания, побежали в заросли.

– Сейчас погоню устроят, надо бы попридержать их, – крикнул Никита на ходу.

– Трухнут! Их там мало! Давай ходу, пока тихо, – Васька ещё сильнее потянул немца. Позади немного потрещали автоматы, а потом и совсем всё стихло. Разведчики ещё какое-то время бежали, потом шли, потом снова пытались бежать, но немец уже не мог, пришлось сделать небольшой привал. Передохнув, собрались идти дальше, но немец вдруг закапризничал, не захотел вставать. Васька передёрнул автомат и направил его на пленного. Тот сразу поднялся и пошёл.

– Вась, а ты чего сразу давай гранату кидать, не посмотрел вокруг даже, – сказал Никита.

– Я смотрел, смотрел, ждал, пока ты прикажешь, да думаю, что и ждать нечего, – небрежно сказал Васька.

– А если бы бронетранспортёр был ближе? – Никите самому понравилось, как всё вышло, но он любил послушать друга.

– Тогда бы и ты, надеюсь, помог, – Васька подозрительно посмотрел на товарища. – Или нет? Чего-то я тебя не пойму – если бы да кабы? Никита, ты какой-то малохоличный. Старшина мне по секрету говорил, что тобой особый отдел заинтересовался.

– Это почему ещё? – удивился Никита.

– Задумчивый больно. Подозрение вызывает.

– Ну, ты-то знаешь, что я не враг, – Никита решил подыграть другу.

– Я-то знаю, да только кто меня спросит, если чего? – буркнул Васька.

Дальше всё обошлось спокойно. Выходили они последними, немного задержались с немцем. Две другие группы благополучно прошли фронт и уже отдыхали, выслушав свою порцию упрёков за «холостой выход».

– Никита, вы что ли? – тихо спросил взводный. – Чего так долго? Взводный никогда не упрекал разведчиков, потому как сам знал, каков

хлеб разведчика. Взять языка – это не самое главное, а вот доставить – стоит больших трудов.

– Мы, не стреляйте, – сказал Васька. – Выпить есть?

– Чего задержались?

– Языка принимай, – сказал Васька так спокойно, словно предлагал папироску.

– Точно? – переспросил взводный. Но, увидев немца, сказал. – Будет и выпить, и закусить. Молодцы.

– Наши нормально вернулись? – спросил Никита.

– Все целые. Где вы его взяли? Далеко? – взводный был очень рад за разведчиков: будет теперь, кого предъявить командованию. – Да это ж целый майор! Теперь готовьте дырочки под награды.

– Кто там, майор или генерал, я в ихних «звёздочках» не разбираюсь, – сказал Васька. – А от награды не откажусь, можно сразу и две.

– Вот ещё приложение, – Никита протянул портфель.

За этот выход Никита с Васькой получили по медали «За Отвагу» и личные поздравления комдива. Ценный оказался немец.

Сколько было ещё походов за линию фронта, кто им счёт вёл? Бывали удачные, а то и не очень. Повезло Никите, что рядом был всегда неунывающий друг Васька Дым. Фамилия у него была Дымченко, но все звали просто – Дым. Выручая друг друга, шли они по войне, не геройствуя, но и не прячась за спины других. Тянули грубую тяжёлую лямку рабочего войны. Делали это, как могли, и, судя по наградам, неплохо. Уже по две медали висели на груди у друзей. У них во взводе у некоторых и побольше наград было, и потяжелее весили они, только никто не хвалился и не выставлялся напоказ.

– Гражданин Кондрашов, вы ударили гражданина Шумкина? – голос судьи вернул Никиту в действительность. Он некоторое время смотрел на судью непонимающими глазами, пытаясь сообразить, что же от него хотят.

– Повторяю вопрос, вы ударили Шумкина?

– Да, – наконец Никита понял, о чём его спрашивают.

– Повторите чётко и внятно, – попросил судья.

– Да, я ударил Шумкина.

– За что?

– За дело, – спокойно ответил Никита.

– У меня написано, что гражданин Шумкин пытался дотронуться до ваших наград, а вы его за это ударили кулаком и порвали рубашку.

– Так и было.

– Мне рубашку купили, вот она, на мне, – вдруг сказал счастливый Толянка.

– Значит, возместили рубашку? Запишите, – сказал судья секретарше.
– Убыток возмещён.

– Но синяк я целую неделю носил, – добавил Толянка и сел на скамейку. – За синяк мне ничего там не полагается?

Шумкину ещё хоть немного хотелось побыть в центре внимания, когда ещё доведётся при таких солидных людях сказать слово. Свои деревенские и слушать его не хотят, а здесь и по имени – отчеству назвали. Толянка улыбался, крутился на месте, его так и распирало от гордости.

– Кто может дать характеристику гражданину Кондрашову? Коротко и по делу. Какой Кондрашов в быту, на работе, короче, назвать положительные и отрицательные качества. Кто скажет? – судья осмотрел присутствующих, не обращая внимания на Толянку. Никто говорить не желал. Тогда Глоткин сказал:

– Может, бригадир скажет слово, ему всё известно?

Пашка встал и стал озираться вокруг, найдя глазами Ивана Аришина, пробормотал:

– А я что? Я ничего. Характеристику гражданину Кондрашову, это самое. Ну.

– Да вас вместе с Толянкой одной верёвкой связать и в... – Иван Аришин не вытерпел.

– Иван! – оборвал его участковый. – Сядь на место! – Иван повернулся и вышел на крыльцо, закрутил махорки и закурил. Панкрат присел рядом и тоже потянулся за кисетом.

– Ты видел, что устроили? – спросил Иван.

– Как говаривали раньше, «плетью обуха не перешибёшь». У них там всё прописано в бумажках, только посматривай.

– Жалко Никиту.

– То-то и оно, что зазря мужик пропадёт. – Они покурили и опять пошли в клуб. Пользуясь, что Аришина нет, Пашка рассказал, что все фронтовики не хотят слушать начальство, а делают всё по-своему. Он бы и ещё чего наговорил, только вдруг увидел злобный взгляд Ваньки Белова, осёкся на полуслове и сел.

– Ну, продолжайте, – попросил судья.

– Нет, я ничего, я закончил, – пробормотал Пашка, съёжившись под колючим взглядом.

– Может, кто-то скажет слово в защиту подсудимого? – спросил судья.

– Я скажу, – раздался голос из той стороны, где сидели женщины. Поднялась бабка Воробыха. Раньше её звали просто Воробыха, теперь же из-за преклонного возраста стали звать бабкой. Жила она одна, детей своих не имела – Бог не дал. Была замужем ещё до войны за мужиком слабохарактерным, за Николкой Воробьёвым, потому и Воробыха. Поначалу жили хорошо, дружно, но потом, когда поняли, что детей не будет, стали скандалить друг с другом. Муж пристрастился к «горькой» и иногда стал поколачивать супружницу. Настасья, так звали Воробыху, терпела недолго. Однажды, после очередных побоев, связала спящего мужа крепкой верёвкой да так отлупцевала плетёным бичом, что тот сразу протрезвел. Попросил развязать, она развязала сразу, и тихо сказала:

– В следующий раз руки отрублю. – Муж поверил и больше не трогал, хотя жить лучше не стали. Вскоре подросла война, мужика забрали через месяц, ещё через два пришла похоронка. Повыла Воробыха, как полагается, несколько дней, да впряглась в колхозное ярмо. А работы было столько, что и оглянуться некогда. И всю свою жизнь работала, сколько было сил, да водилась с соседскими детьми. Своего счастья не было, так хоть у чужого погреться. Жила безропотной, малоразговорчивой, если и скажет слово, так только по делу. На женских посиделках только слушала да улыбалась, а когда её спрашивали о чём-либо, то отмахивалась.

И каково было людское удивление, когда эта молчунья взяла слово. Люди зашикали на местах, послышались смешки.

– Тихо! – сказал судья и постучал карандашом по графину.

– Защищай, не защищай, – медленно начала бабка Воробыха, – а приехали вы посадить Никиту, чтобы другим не повадно было, припугнуть других чтобы. Всех нас припугнуть. Вот ты говоришь, – обратилась она к судье, – что перед законом все равны: и обалдуй Толянка, и пораненный на фронте Никита. Э-э, мил человек, все да не все. Для некоторых закон, что твоя оглобля, а другим он – друг и брат, таким, как вот он, – она указала рукой на председателя сельсовета, сидевшего рядом с судьёй.

– Ты чего, Воробыха? Кто это мне друг и брат? – сказал Глоткин.

– А того, что никакой закон не спросил с тебя за прошлые дела, которые вы со своим дружкой, уполномоченным по заготовкам, творили во время войны.

– Ты говори, говори, да не заговаривайся! Чего это я такого творил?

– А забыл, как по дворам шарили да над людьми издевались?

– Так это он свою работу выполнял. Работа у него была такая, чтобы от налога ничего не укрывали.

– Ты приводил его к вдовам да солдаткам, а он всё выискивал, к чему придраться. В хлеву, бывало, каждый угол обшарит, кур с гнезда сгонял, всё проверял в гнёздах, нет ли чего. Доходило до того, что крупные куриные яйца разбивал и смотрел, а вдруг там два желтка, будто на них другие налоги. И всегда, гад, найдёт, до чего докопаться, а потом начинает глумиться над бабой да под юбку залезть старается.

В клубе раздался приглушённый смех.

– Там-то чего искали?- раздалось с задних рядов.

– Это что же, пока мужики смерти в глаза заглядывали, их бабы с уполномоченными поигрывали? Специально прятали, чтобы он докопался, провоцировали, – сказал второй заседатель и заулыбался, ища поддержку в зале.

– Ржёте, как жеребцы, – продолжала Воробьиха. – Все вы одним бесом целованы. Конечно, прятали! Смерти, говоришь, в глаза смотрели? А кому страшнее смотреть в глаза: смерти или голодным детям?

– Если так тяжело в деревне жить, чего же не уедете? – не унимался городской.

– Легко живётся дуракам да таким, как ты, прости Господи, – старуха перекрестилась. – Куда же это я уеду? Куда мне теперь-то уж? Помирать мне пора, а молодые не могут уехать, потому что паспортов не дают. Справку для паспорта вот этот, колченогий, выдаёт. Много он их выдал, спроси у него, да сколько за справку берёт, спроси.

– Не совестно вам вот так огульно клеветать на человека, – сказал судья.

– А ты не совести меня, – продолжала Воробьиха. – Вот недавно сидела с соседской девочкой, а та читает букварь: «Мама мыла раму».

– И к чему это? – спросил судья.

– Дальше читала: «Мы не рабы, рабы не мы», не знаешь, про кого это говорится? Вот и я не знаю. И уехать без паспортов мы не можем: на работу не берут, и прописка везде нужна.

– Воробьиха, ты думай, что говоришь! – решил показать себя бригадир.

– Я тебе не Воробьиха! Для тебя сопленосый, я – Настасья Петровна! – Правду не хочется слушать? Правда – она угловатая да колючая, с ней жить хлопотно, а кривда ровная да склизкая, вам она больше по душе! –

она ещё что-то хотела сказать, только голос сорвался, запершило в горле.

– А ну вас... – прошептала она, сдёрнула с головы платочек и зарыдала. Длинные седые волосы рассыпались по плечам и подрагивали. Продолжая плакать, она медленно направилась к выходу и вышла на крыльцо. Какое-то время в клубе стояла тишина, но потом то здесь, то там слышались всхлипывания. Женщины, прикрываясь платочками, тоже плакали. Жалко было и Воробьиху, и Никиту Кондрашова, и самих себя, хлебнувших горюшка горького полную чашу. И за обиды, и за голод и холод, и за детей, не видевших добра, за многих, схороненных на деревенском погосте. А молодые женщины, которым не довелось видеть прошлой жизни, просто за компанию. Мужики, нахмутив лбы, потянулись к выходу. Судья решил заканчивать дело и сказал:

– Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Желаете сказать что-то в своё оправдание? Пожалуйста.

Никита встал, постоял несколько минут, улыбнулся и сказал:

– Жалко Васьки Дыма нет, он бы вам сказал.

– Кто это? Почему не вызвали? – спросил судья. Никита махнул рукой и сел.

– Суд удаляется на совещание для вынесения приговора, – проскрипела секретарша. – Граждане, в связи с тем, что суду некуда выйти, просим на время покинуть зал.

Люди стали шумно, но медленно покидать клуб. Настроение у всех было разное. Для кого-то, особенно тех, кто помоложе, – это было, словно кино, но вживую. Те, кто понимал ситуацию, смотрели хмуро, а многие просто ждали продолжения, не выражая эмоций. Из зала вышли все, кроме членов суда да Никиты. Он отвернулся к окну и так замер.

В свою последнюю разведку Никита Кондрашов уходил на два дня. В группе было пятеро человек. Васька Дым, как всегда, веселил всех перед выходом, чтобы потом замолчать на несколько часов, пока перейдут передний край. Задание было обычное: захватить и привести живого, лучше – много знающего языка. По всему фронту готовилось наступление, к командованию поступало много разных разведданных, которые требовали подтверждения. Проверки, перепроверки разные. Разведчикам перед наступлением работы хватает. На карте была отмечена точка, где требовалось проверить наличие немецкой батареи крупного калибра. С воздуха не видно – маскировка хорошая. Лётчики ничего не нашли. Требовалось подойти поближе, взять языка и

вернуться, желательно, без потерь. С самого начала всё пошло складно: нашли батарею, долго наблюдали, определили, где и сколько спрятано пушек. Взяли и языка: связист неосторожно проверял линию и попался. Всё обошлось без шума и стрельбы. Но любое везение когда-то и заканчивается. Уже на нейтральной полосе нос к носу столкнулись с немецкой разведгруппой, возвращающейся с нашей стороны. Завязался короткий, но жестокий бой. Разведчики – народ быстрый, стреляют мгновенно, двоих из группы положили сразу. Васька с пленным был немного в стороне и под огонь не попал.

– Васька! Тащи немца, будем прикрывать! – крикнул Никита. Немцев было больше, и они наседали остервенело: видно, хотелось взять в плен разведчиков. Вскоре затих и третий из группы, Никита остался один. Как бы это закончилось, не ясно, но помогли сами немцы. С их стороны ударили миномёты, отсекая противников друг от друга. Мины ложились совсем рядом, и Никита решил сменить позицию. Только привстал, чтобы откатиться в сторону, как в спину ударило так, что Никита встал в полный рост. Мина взорвалась совсем рядом. Никита стал заваливаться набок, и в этот момент его прошли ещё две пули, выпущенные из автомата. Небо закрутилось, в глазах потемнело, мир померк.

Очнулся Никита в госпитале только через двое суток, весь в бинтах. За это время его успели переправить из санчасти в госпиталь, который находился неподалёку, здесь и сделали первую операцию. Большая потеря крови и множество осколочных ранений делали положение солдата крайне тяжёлым. Теперь всё зависело от самого раненого, от его организма. Никита долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь осознать, что с ним? Вспомнились последние мгновения боя – тогда стало всё ясно. Вдруг пришла сильная боль, и нестерпимо захотелось пить, Никита попытался шевельнуться, но застонал от боли. Соседи по палате вызвали врача.

– Живой? – спросил врач, разглядывая раненого. – Ну, крепок же ты, братец, столько крови потерял, я думал, что не выдержишь. Раз очнулся, значит, будешь жить. Скажу сразу, лечиться придётся долго, шкуру тебе попортили изрядно, особенно сзади. Пули прошли навылет, и осколков ты получил много, мы вытащили, сколько нашли, а там видно будет, некоторые со временем сами выйдут. Повезло тебе, что вовремя привезли. Немного бы позже – не выбрался бы. Ладно, выздоравливай.

– Пить, – прошептал Никита.

– Пить можно, но немного, кишки целые, хоть здесь повезло. Перевязки будете делать, смотрите, осколки могут выходить, – сказал врач медсестре и стремительно удалился.

Боль Никита терпел, сколько мог, иногда от неловкого движения терял сознание, но быстро приходил в себя. Изредка соседи по палате давали ему разведённого спирта, тогда Никита спал некоторое время спокойно. Часто от кашля шла кровь: одна пуля прошла через лёгкое, но и это со временем стало проходить. Он уже стал садиться на кровать и пытался вставать, хотя было тяжело и больно. Через пару недель приехали ребята из его взвода вместе с командиром. Приехали с разрешения комбата и привезли награду за последний бой.

– От имени командования вручаем тебе орден «Красной Звезды», – сказал взводный и подал коробочку.

– Служу Трудовому Народу, – выговорил Никита и смутился.

– Как ты тут, герой, подружку себе ещё не присмотрел? Смотри, про меня не забудь, при случае, – хохотнул Васька Дым.

– Это он тебя вытащил, – сказал взводный. – Немца сдал, а сам на выручку к вам рванул. Вы уже и стрелять перестали, тихо стало. Наши пушки поработали немного по переднему краю, уgomонили немцев. Движения никакого не замечалось, комбат запретил Ваське лезть туда, да куда там.

– Ладно тебе, – смутился Васька. – Делов-то.

– Как раз на пять суток ареста, которые ты заработал от комбата за нарушение приказа.

– Немцев вы навалили с десятков, я всю нейтралку исползал, пока вас нашёл. Ребята погибли, схоронили мы их, а ты живой оказался, застонал, когда я тебя поволок.

– Арест за что? Что меня спас? – спросил Никита.

– Сняли арест, – буркнул Васька. – Немец оказался полезным, тебе орден, а мне только арест отменили. Ты давай, быстрее выздоравливай, пойдём и мне орден зарабатывать.

– Буду стараться, – улыбнулся Никита.

– Вот это друг, – развёл руки Васька. – А пока обо мне не забудь.

– Про тебя забудешь – остаток жизни икать придётся.

– Стаканы есть?

– Кружка.

– Ещё и лучше, больше влезет.

Никита подал из тумбочки кружку. Васька взял из коробочки орден, положил в кружку и снял фляжку с пояса.

– Нагрел-то как орден, сейчас остудим и обмоем заодно, – он налил полную кружку. – Тебе можно или нет? А то мы и сами обмоем. Специально для тебя чистейший спирт испортили, развели, – он взял кружку и сказал:

– Чтоб не последний...орден не последний, – глотнул и пустил кружку по кругу. Ребята все приложились к кружке, остатки вместе с орденом подали Никите. Он допил и вытащил орден.

– Теперь – другое дело, и нацепить не стыдно, – заявил Васька.

Вскоре ребята ушли, оставив другу полную фляжку для скорейшего выздоровления.

Больше Никита и не видел друга. Через день их часть ушла в наступление, а Кондрашова отправили в тыловой госпиталь. Долго везли на поезде до самого города Иркутска. Там, в госпитале, Никита пробыл почти два месяца, там и выяснилось, что один осколок остался в теле, и трогать его было нельзя. Врач объяснял, что не добрать до него, можно повредить что-то, и тогда сразу – смерть. Когда остальные раны затянулись, вышла ещё пара мелких осколков, и врач сказал:

– Кондрашов, я тебя выписываю домой, но имей в виду: в тебе осколок сидит как мина замедленного действия. Скажу тебе правду, если он не будет двигаться, то поживёшь ещё. Тебе нельзя тяжёлое поднимать, резко двигаться. Беречься надо...

– Пусть заходят, – сказал судья и вместе с заседателями пошёл за сцену. Секретарша выскочила на крыльцо:

– Можете заходить.

Клуб заполнился быстро. Когда немного утихло, она торжественно объявила:

– Встать! Суд идёт!

Судья стал читать:

– Сегодня слушалось дело...– он зачитывал материалы дела.

Жалко, Васька потерялся, – думал Никита. – Может, сгинул в этой «мясорубке»? Или нашёл себе подружку где-нибудь в Германии? С него станет, – Никита невольно улыбнулся, вспомнив друга, – какой бы он был сейчас? Такой же баламут или остепенился? Нет, не мог Васька сгинуть, живёт где-нибудь и в ус не дуёт.

– ...И приговорить Кондрашова Никиту Петровича к одному году исправительных работ в колонии общего режима, – закончил судья. После небольшой паузы спросил: – Обвиняемый, вам понятен приговор? Кто-то из женщин заплакал, но, испугавшись, затих, другие

неодобрительно зашушукались. Никита встал, подошёл к столу приподнялся и судья, подошёл Ванька Белов.

– Вот, передай в военкомат, я не заслужил это, – Никита положил на стол три юбилейные медали.

– А те заработал? – судья кивнул на боевые награды.

– Эти кровью добытые, а не военкоматовские подачки. Вот что, судья, мне надо домой сходить переодеться да попрощаться. Так отпустишь или охрану приставишь?

– Вас надо взять под стражу в зале суда, – сказал судья.

– Вот, я и говорю, давай охрану, а то вдруг сбегу.

– Я вам повторяю, – начал было судья...

– Я схожу с ним, – сказал участковый, – а вы садитесь в машину и поезжайте быстрее отсюда – народ возмущается. Подождёте на краю деревни. Пошли, – сказал он Кондрашову. Половину дороги они шли молча.

– Никита, ты на меня зла не держи, я сделал всё, что мог. Этот хмырь из райкома упёрся. Говорит, что дело политическое, мол, такой праздник, а тут драку устроили. Я ему говорил, что два мужика подрались, какая тут политика? Нет, упёрся, как баран, лозунгами прёт, что я против политики партии. Ну, не дурак ли? Вот и устроили эту показуху. Я к начальнику милиции ходил, но ему-то что? Он против райкома не пойдёт.

– Ты тут причём? Ты что ли приговор сочинял? – отмахнулся Никита.

– Если ты хотя бы партийным был, тогда ничего не было бы.

– А что, партийному бить разрешается?

– Партийного судить нельзя.

– Как это? На фронте и партийных расстреливали.

– Понимаешь, есть такое положение: партийных судить нельзя, чтобы партию не опорочить. Если чего натворил, надо сначала из партии исключить, а потом под суд отдавать с чистой совестью уже беспартийного. Но и из партии не просто так выгнать. Объяснительных кучу писать надо. За драку никто не стал бы и заниматься этим.

– Лучше я отсижу год, чем быть в такой партии.

– Я партийный, Осташков Сашка в партию вступил на фронте.

– Тебе по должности положено. Ты мне, Иван, лучше вот что скажи: по радио и в газетах болтают, что мы все к светлой жизни идём, много ещё осталось?

– Никита, ты понимаешь, что тебе год впаяли, а ты шутишь тут, – стал сердиться Белов.

– Не шучу я, просто вспоминаю, как на фронте мечтали о новой жизни. После такой войны должно было всё перемениться. Говорили: красивая жизнь будет, улыбаться все будут. Сколько лет, как война закончилась, а красоты так и не видать. Как крутили хвосты коровам до войны, так и сейчас крутим. В последние годы, правда, немного полегче стало, но, думаю, не этого мы хотели. Вы-то в окопах говорили об этом?

– Да я на фронте только месяц и был. Ранило, пока лечился, и война закончилась. Служил до сорок седьмого, а когда демобилизовался, в милицию позвали. С тех пор на участке и работаю. Ты же знаешь.

– Иван, а уполномоченного и вправду утопили?

– Кто его знает? Вышел из соседней деревни и пропал. Шуму много было, а следов так и не нашли. Никто ничего не видел.

– Значит, утопили, люди зря болтать не будут.

– Тебе что за печаль? Вредный был мужичонка, правильно бабы говорят. Если и утопили, то за дело.

– Ты же власть, а рассуждаешь как?

– Нормально рассуждаю. Насмотрелся я на таких уполномоченных. К примеру, возьми того, райкомовского, который тебя подставил? Какая ему корысть, что тебе срок дали? Ну для чего? Всё принципы какие-то. Что за принципы такие? Его гонят со всех должностей, так он значимость свою показывает.

– И никто не видит?

– Связываться не хотят. Проще тебя посадить, чем его на место поставить. Вот таких сам бы топил.

– И навёл бы порядок, у тебя все права.

– Ага, подберёшься ты к ним. Это тебя раз-два и посадили, а их сначала из партии надо исключить, – хохотнул Ванька и осёкся.

С разговором и дошли до дома Кондрашовых.

– Иван, ты подожди меня здесь, не убегу?

– Да ладно, – участковый присел на бревёшко возле палисадника.

Таисия уже всё знала. Новости по деревне, что ласточки перед грозой порхают, а плохая новость вроде скрипучей калитки: где-то чуть дунуло, а здесь уже заскрипело. Она стояла посреди комнаты и беззвучно плакала. Никита подошёл, обнял жену:

– Так получилось, Таюшка. Что ж теперь делать? – он молча гладил её по голове. – Там ждут меня.

Она подала ему одежду попроще да стала собирать котомку. Положила чистое бельё, шерстяные носки, булку хлеба, огурцов, луку с

огорода да яиц варёных. Прибежал сын Петька и растерянно смотрел на родителей.

– Сынок, ты теперь за мужика в доме, матери помогай да слушайся её.

– Пап, ты приедешь? – спросил он.

– Приеду, сынок, а как же?

– Когда? – мальчик ещё не осознавал всего, что случилось с отцом.

– Вот на следующее лето и приеду. Мамку береги, потом с тебя спрошу.

– Ладно, – пообещал Петька. Таисия улыбнулась:

– Помощник.

Они вышли со двора втроем. Ванька терпеливо сидел и курил. «Газик» уже давно ждал, выехав на гравийку.

– Никита, поберегись там, – тихо сказала жена.

– Образуется всё, Таюшка, ты потерпи.

Когда садились в машину, Никита оглянулся: Таисия с сыном стояли, обнявшись, и смотрели вслед.

7

К середине октября погода как с цепи сорвалась. Сначала небо просто потемнело и прижалось к земле, потом пошёл снег, редкий, тихий. Вдруг поднялся ветер, и, словно разорвав мешок со снегом, так закружил пургой, что всё накрылось белой бушующей пеленой. Крутило, трещало и выло трое суток. За окном – бесовские пляски ветра. Схватит ветер охапку снега, подбросит её и давай крутить то в одну сторону, то в другую, а затем швыряет её на крышу, и всё начинается снова. Потом вдруг стихло, и пришёл мороз. Сибирь. Она, матушка, не спрашивает – куролесит, как пожелает, и ничего не сделаешь. Только жизнь идёт, и повседневные дела не забросишь. Поначалу люди ворчат на погоду да ругаются, а потом привыкают и к морозу, и к снегу.

Холода стояли с полмесяца, потом ослабли, опять пошли снега. Тихие, крупные да мягкие менялись на колючие и злые. К Новому Году отпустило на неделю, потом опять прижал мороз. Зима как зима. Засыпанные снегом дома с небольшими окнами, сугробы снега на месте заборов да длинные дымовые хвосты из труб до самого неба тихими звёздными вечерами. Редкий брех собак, и звенящая тишина.

Только к концу марта начинаются небольшие перемены. Длиннее становится день, снег искрится сильнее, ослепляя и заставляя слезиться

глаза. Днём в закутках, где нет ветра, можно понежиться робким солнечным теплом. Скотина во дворах стоит или лежит на припёках, пожёвывая жвачку. Но только апрель серьёзно возьмётся сгонять снег. Сначала разголубит его, потом начнёт чернить. Снег станет рыхлый, колючий и постепенно растечется лужицами, ручейками и исчезнет...

Утром в конторе народу было немного. Пришли мужики, поболтали немного, покурили да разошлись. Каждый знал свою работу, а встречались больше по привычке. Если не пришёл утром в правление, словно что-то потерял или упустил. Иногда узнавали новости колхозные, а новости страны исправно читало радио да доносили газеты, приходившие с недельным опозданием.

Петюнька Рубан, очередной бригадир, поставленный ещё осенью, после отчётного собрания один сидел в конторе. Пашка, под руководством которого бригада не выполнила план в очередной раз, был с позором изгнан, обвинённый во всех грехах. Находясь далеко от власти, он исправно критиковал своего преемника. Петюнька же, мужик тридцати лет, имевший жену и двух дочек, как хозяин был неважный. У него на подворье всё было кое-как: заплот едва держался, скотина сиротливо выглядывала на улицу. Петюнька знал, что в любом случае ему быть в кресле бригадира не больше года. Решил, что лучше сильно не упираться. То ли от большой лени, то ли от большой важности он днями просиживал в конторе, покидая её только на обед. В деревне было достаточно мужиков хозяйственных, которые могли бы хоть немного навести порядок, но они не шли на эту должность. Каждый больше надеялся на своё хозяйство. На колхозную зарплату не проживёшь – вот и крепили хозяева свои подворья.

Зазвонил телефон. Петюнька вздрогнул от неожиданности. Он аккуратно взял трубку, осторожно поднёс к уху и прислушался. Ничего не услышав, он тихо сказал:

– Алло.

– Алё! Алё! Рубан, это ты?

– Я.

– Там к тебе бензовоз отправили. Пошли трактор встретить на краю деревни, а то будет стоять. Да не задерживай его. Разгружайте сразу! Алё? Ты слышишь?

– Слышу. Я понял, трактор пошлю.

– Хорошо, – уже спокойно добавили на том конце провода. – Завтра праздник, просили передать, что часам к двенадцати приедут из района

поздравлять ваших фронтовиков. Обеспечь явку. Сам обойди всех, предупреди.

– Хорошо, я понял. Сам передам.

– Ну, всё, – в трубке раздались гудки. Петюнька аккуратно положил трубку на рычаг, долго смотрел на чёрный аппарат, вспоминая, что ему сказали. Вспомнив, пошёл искать трактор.

Старенький «ЗИС»-бензовоз с широкими крыльями, хлопавшими на ямах, стоял уже несколько минут на краю деревни.

Молоденький шофёр, первый раз приехавший в эти края, спросил своего попутчика:

– Так, говоришь, не стоит самому ехать?

– Лучше подожди. Должны прислать трактор, он тебя доставит до места и вернёт назад. Там есть ямы большие, может стащить и перевернуть машину, – ответил попутчик.

– Ты что, местный, раз всё знаешь?

– Местный, – сказал попутчик. – Я пойду, мне недалеко. Измождённый мужчина преклонных лет медленно побрёл по краю дороги, стараясь ступать на траву. В машину его посадил участковый в центральной усадьбе колхоза, где бензовоз находился целый час, пока руководство решало, куда везти горючее.

– Отвезёшь до места, и не лезь с расспросами, – сказал Белов. Пассажир молчал все двадцать километров пути. Только смотрел по сторонам да вздыхал.

Мужчина осторожно прошёл по грязи, перешёл улицу и вошёл в четвёртый дом от края. Его никто не встречал, видно, никто не ждал. Никита зашёл во двор и сел на вымытое сухое крыльцо. Огляделся. Во дворе вдоль забора стояли четыре солидных поленницы дров, расколотых на крупные поленья, в огороде виднелась половина зарода сена. Дров заготовлено много, на зиму хватит. В огороде виднелись пчелиные домики. Пчёл Никита не видел: далековато было, но знал, что они уже ожили и готовятся к своей работе. Собачья будка была пуста, видно, что в ней никого не было.

– Стой ты! – раздался знакомый голос со скотного двора. – Да не крути ты головой! Ну, чего ты?

У Никиты сжалось всё внутри. Он просто смотрел туда, откуда слышался голос, и не мог встать и пойти, ноги ослабли. Вскоре из-за хлева показалась жена в старенькой телогреечке, чёрном шерстяном платочке. В руках – полный подойник молока с белой шапкой пены сверху.

– Никита, – пробормотала она. – Живой.

Она поставила подойник на чистую доску и заплакала. Никита подошёл к ней, прижал к себе:

– Ну, чего ты? Всё обошлось.

– Измаялась я. Сегодня сон нехороший видела. Хоть что-нибудь подсказало бы мне, что ты вернёшься. Ничего, – она посмотрела ему в глаза, вытерла его лицо ладонью:

– Худющий какой. Ну, пойдём, – она взяла подойник и повела его в дом.

Никита сел на скамейку и огляделся. Дома ничего не изменилось, будто только и выходил на минутку. Всё стояло по своим местам.

– Петька где?

– На рыбалку умотал с ребятами. Уже несколько раз ходил, приносил рыбы. Большую пожарили мы, кабы знали, что ты будешь, так приберегли бы. Может, сегодня поймает чего?

– Как вы жили? Тяжело было? – спросил Никита.

– А ничего, нормально жили. Потом расскажу, сейчас приготовлю поесть горяченького. Молока парного налить?

Никита больше любил молоко холодное, но сейчас так захотелось парного, может, потому, что давно не пил вообще никакого, или просто захотелось взять кружку из рук жены. Сильно скучал Никита по своим. Часто во сне видел и Таисию, и сына.

– Сейчас я, – заторопилась Таисия, подавая кринку только что процеженного молока. – Пей сколько захочешь, чего по кружкам делить.

Молоко было настолько вкусное, что Никита не мог оторваться. Изрядно опорожнив посудину, он подал её жене.

– Вот и хорошо, вот и ладно. Сейчас баньку затоплю, – снова засуетилась она.

– Не торопись, успеем.

– Там всё готово. Петька ещё вчера воды наносил, хотели топить завтра. Дрова тоже есть. Я сейчас. Она пошла затапливать баню, а Никита стал снимать с себя «казённую» одежду. Осторожно сложив её у порога, принялся за свою котомку. На сбережённые деньги он купил жене светлый платочек с цветочками, а сыну – шахматы в раскладной деревянной коробочке, которая служила и доской, и футляром для фигур. Безделушка, конечно, но так уж захотелось подарить сыну шахматы. И ещё на остатки денег купил он в городе колбасы палку и конфет шоколадных целый килограмм. Пусть наедятся хоть раз вволю.

Всё это он выложил на стол, дожидаясь Таисию. Она только всплеснула руками, когда увидела это богатство.

– Ты на заработки ездил, что ли? – улыбнулась она.

– Да уж. Вот примерь, тебе платочек. Не умею я подарки дарить, не научился.

Жена накинула платок на плечи подошла к зеркалу. Крутанувшись возле него, осмотрев себя со всех сторон, она сказала:

– Вот завтра на праздник и надену. Можно, я конфетку возьму? – спросила она шутя.

– Если скажу нет, так послушаешься?

– Нет, – она взяла одну, развернула и откусила половину. – Вкусно.

Таисия суежилась по дому, что-то делала и говорила, говорила. Никита сидел на скамейке у стола и наблюдал за женой. Он совсем не слышал, что она говорила, словно немое кино смотрел и радовался, что такой красавицы, как его Таисия, ни у кого нет. В деревне уж точно.

За суетой подросла баня. Жена сходилась, помыла полы, закрыла трубу. Теперь нужно, чтобы баня отстоялась немного, и можно идти. Баня у Кондрашовых была построена по-белому, хотя большинство бань в деревне делались по-чёрному. После ранения в лёгкое Никита совсем не мог переносить угарный дым, который оставался, когда баню топили по-чёрному. Он сразу решил делать по-другому. Сложил специальную печку, к ней приделал железную бочку на сто литров для горячей воды, в дымоходе устроил место для камней, через которые проходил огонь и раскалял их. Когда печка протапливалась, закрывалась труба, чтобы тепло не улетало. Через специальную дверку ковшиком лили воду на камни. В бане было чисто: побеленные стены, выскобленные добела пол и лавки, немного почерневший широкий полоч. В углу – большая деревянная кадушка с холодной водой. Высокие оцинкованные тазики, в которых мылись, лежали перевёрнутые.

– Пойдём, сама буду отскабливать от тебя беду, чтобы никогда больше не приставала.

Уже через минуту Никита лежал на полке и грелся. Таисия поддавала пару настоем из берёзового веника да пихтовых иголок и шлёпала берёзовым веником по спине мужа.

– До чего же ты исхудал? Не кормили, что ли?

Никита молчал. Какое счастье слушать немного ворчавшую жену, дышать берёзово-пихтовым духом.

– Чего молчишь? – спросила жена.

– Радуюсь.

- Чему?
- Что дома, да такая красавица веником меня охаживает.
- Только бы на разных голых баб и пялиться, – проворчала она.
- Не на разных баб, а на жену.
- Ладно, горе моё, давай спину, мыть буду.

Таисия медленно водила намыленной вехоткой по худой спине, покрытой шрамами от ран. Рёбра неестественно выпирали под кожей. Слезы потекли по щекам женщины. Она замолчала, стараясь не выдать своё состояние. Тем хороша баня, что легко можно спрятать слёзы. Ох, доля бабья, если бы не слёзы, как бы вам жилось? Немного успокоившись, она навела себе воды:

- Ты полежи, погрейся, я сама вымоюсь, потом и пойдём домой.
- Так бы и лежал. До чего ж хорошо!

Дома Никита прилёг на кровать. После бани самое дело полежать немного на чистой постели. Таисия заварила ему чаю с мёдом. Его старая одежда висела на нём, как на огородном чучеле.

- Неужели я такой толстый был? – шутил он.
- Ага. Дверь шире делали, чтобы пройти мог.

Уже стало темнеть, когда прибежал Петька. Увидев отца, он закричал:

– Папка! Приехал! Смотри, я рыбы наловил! Мам, давай таз, крупная есть!

Никита заглянул в посудину, там лениво шевелили хвостами три больших налима. Ельцы и щука уже не двигались.

– Сейчас и сварим ушицы свеженькой. Сына, ты в баню сходи, а потом посидим вечерок. Бельё чистое возьми на комод.

- Я сейчас, быстренько, – сказал Петька.
- Мойся хорошенько, проверю, – сказала мать. – А то снова пойдёшь.
- Ладно, – слышалось за дверью.
- Помогает?
- Помогает. Маловат ещё, а берётся за непосильное. Останавливаю.
- Дров, смотрю, заготовили.

– Спасибо, мужики не забывают, помогают. В марте притащили трактором четыре хлыста дров Семён Ивашов с Кузиным. Чуть не передрались. Что-то в лесу у них получилось. Спорили, спорили, а потом и помирились. Через неделю пришли с пилой, с ними Панкрат да Иван Аришин. За день и попилили, и скатали во двор. В три колуна разбили чурки, а складывали мы уже сами с Петькой. Собрала стол вечером, поставила бутылку, так они сначала свою вытащили, а потом уж и эту допили. И ещё Витьку посылали. Домой с песнями пошли. Хорошо, что

уже морозов не было, а так бы и переживала, чтоб не попадали да не обморозились где.

– С сеном тоже они помогли?

– Да. Как тебя увезли, я сначала ничего не могла делать, из рук всё валилось. Когда покос начался, я, было, пошла с косой, а глядь – наш покос скошен. Семён косил на тракторе колхозное сено, да и на наш покос заехал. Бригадир ругался, грозился, потом перестал. Трактористы компанией и сметали зароды. Дома, на огороде, правда, сами косили, да там и пчёлы, чего их тревожить.

– Пчёлы все целые?

– Все. Хорошо перезимовали.

– Помогал кто?

– Сами с Петькой. Думала, не справлюсь. Нет, ничего. И мёду взяли неплохо. Продали хорошо, деньги я не тратила, приберегла.

– Пусть, пригодятся. Петька растёт, ему на одежду сколько надо. Я переживал, как вы там справитесь. Видно, мир не без добрых людей.

– Ты, Никита, сам мужикам спасибо скажи. Что я, баба, а твоё слово другое.

– Скажу, раз такое дело.

Прибежал Петька. Шумный, красный, радостный.

– Пап, а вместе сходим на рыбалку? Некоторые пацаны с папками ходят.

– Сходим. Глянь-ка, что я тебе привёз, – он подал доску с шахматами. Петька даже задохнулся от неожиданности.

– Это мне?

– Тебе? Играть умеешь?

– Маленько умею. У Кузиных есть шахматы, только доска у них бумажная.

– Разве доски бывают бумажные? – с иронией спросил отец.

– Ну, вот эта штука, – показал сын на клетки.

Сын радовался шахматам больше, чем конфетам. Уговорил отца сыграть с ним разок. Проиграл, уговорил ещё раз. Никита поддался незаметно, так Петька на контрольную ещё уговорил. Выиграв контрольную партию, он сложил фигуры, закрыл коробку и сказал:

– Надо было тебя заставить собирать, раз проиграл, – отец с матерью переглянулись, и они все втроём расхохотались.

Жена накрыла стол. Сварила ухи, пожарила картошки. Наставила нехитрой деревенской снеди, а потом вытащила и бутылку водки.

– Специально на это дело хранила, – сказала она и качнула головой.

Выпили по рюмочке за встречу, а больше и не захотелось. Никита с удовольствием похлебал ухи да съел пару кусочков рыбы.

Уже лёжа в постели, Таисия рассказывала:

– Снег выпал, Витька Кузин притащил сено на тракторе, сразу в огород поставил. И бутылку не взял, уехал. Потом на Октябрьскую пришли твои дружки с семьями к нам, вскладчину отпраздновали, попели, поплясали да поревели вдоволь.

– Ревели-то чего?

– А нам бабам чего: запоёт кто, так подпоём, а заревёт какая, так тоже подхватим. У нас слёзы близко, а причин – сколько хочешь.

– Только на Седьмое и были?

– Нет, на Новый Год приходили, на Первое мая да на Пасху. На Троицу собирались зайти, как с кладбища пойдут.

– Теперь реветь не будешь, небось?

– Чего бы доброго? – жена ещё много шептала на ухо, рассказывала, смеялась. Не стал портить встречу Никита да говорить, что случилось худшее, о чём предупреждал врач в госпитале. Осколок, смирно почивавший в теле, стал двигаться. Ничего хорошего это не сулило. Не будет говорить Никита жене об этом, сколько сможет: сделать она ничего не сделает, а расстраивать заранее не стоит. Уснул он под утро.

Никита проснулся от тишины. Открыл глаза и осмотрелся. В комнате никого не было, на лавке лежал аккуратно сложенный костюм с наградами. Никита сел на кровати, посмотрел в окно. День разгорался солнечный. Ещё было рано, а от дороги уже поднимался припарок. Надев костюм, пошёл в прихожую. Там тоже никого не было. Он глянул на часы и вышел на крыльцо. Жена варила под навесом на печке и скоту, и себе. Петька колот сухие дрова на мелкие поленья. Никита сел на крыльцо, наблюдая за домашними. Жена заметила его и заулыбалась:

– Выспался? Я не стала тебя будить, слышала, как ты полночи ворочался.

– Пап, на рыбалку пойдём? – спросил сын.

– Вот праздник пройдёт и пойдём, ладно?

– Ладно.

– Петь, ты бы сбегал, позвал наших мужиков, которые воевали, скажи, что я зову.

– Вот это правильно, – сказала Таисия.

Райкомовский «газик» показался за огородами. Там хоть и было грязно, но вездеход проворно продвигался вперёд. Ещё минут пять, и

подъедет к конторе. В это время в дверях правления показался Петька Кондрашов.

– Дядя Ваня, дядя Панкрат, там папка вас звал в гости, – выпалил он.

– Он дома, что ли? – спросил Аришин.

– Да, вчера приехал. Я побежал, ладно? – и Петька побежал к друзьям, разглядывавшим шахматы.

– Пошли, мужики, – сказал Иван, поднимаясь.

– Погодите, сейчас начальство поздравлять будет, потом и пойдёте, – крикнул Петюнька.

– Пусть тебя поздравит, а ты потом расскажешь. Ну, кто идёт?

Машина свернула к конторе, когда из неё вышла толпа мужиков и направилась прочь. Только один бригадир стоял на крыльце и смотрел им вслед.

– Чего это там? – спросил Глоткин, растерявшись.

– Что случилось? – спросил участковый у бригадира.

– К Кондрашову пошли, парнишка от него прибежал.

– Это что? Саботаж? – взвизгнул Одинцов. Он уже приготовился читать доклад, а тут такое. – Это не тот ли Кондрашов, которого посадили в прошлом году?

– Тот, – сказал бригадир. – Видно, выпустили.

– Как выпустили? Ему год давали, а ещё время не прошло. Товарищ Белов, вы должны принять меры.

– Протокол будем писать? – усмехнулся Ванька.

– Именно! Протокол надо писать и принимать меры.

– И что писать?

– Саботаж! Вот что!

– Отойдём-ка, – он взял Одинцова за рукав и потащил за контору, чтобы людей не смущать.

– Что такое?

– Вот что, сморчок, ты заткнись, а то я тебя заткну. Тридцать седьмой всё не забудешь? Тебя в прошлом году надо было заткнуть, да не подумал, что ты таким дерьмом окажешься. А сейчас у тебя не получится кровь пить: я такой протокол составлю, что тебе не год, а червонец за счастье будет, и свидетелей полдеревни подпишется.

– Да, я-а. Как вы смеете? – стал заикаться Одинцов.

– Можешь писать донос, только свидетелей поищи и давай дальше сам езжай доклады читай, без меня. Я к Никите лучше схожу. И чтоб ты знал: я у него проверил вчера справку об освобождении. Всё нормально,

всё законно, – Ванька соврал Одинцову. Документы он не проверял, а с Никитой часок посидели, поговорили, пока ждали попутную машину.

– Чего вы там? – спросил испуганно Глоткин.

– В свидетели пойдёшь к нему, я и на тебя материал имею, на пятерик потянет, – припугнул Белов сельсоветчика.

– Назад поедешь, посигналишь мне на том конце деревни, – сказал участковый шофёру, – и подождёшь.

– А они?

– Они не против. Вы не против? – спросил он начальство.

– Нет, – дружно сказали они.

Мужики шумно ввалились в магазин. Вдруг поднялось настроение, все заговорили, заулыбались.

– Эй, продажная душа, где ты там? – сказал Аришин. – Давай, обслужи честную компанию. Доставай свой «талмуд» да пиши на каждого по бутылке. Берём с собой, тебе не обломится. Будешь возмущаться – сдадим районному начальству.

– Знаешь, куда мы собрались? – поинтересовался Панкрат.

– К Кондрашову. Я его вчера видел и разговаривал с ним.

Во двор заходили большой компанией. Никита, сидевший на крыльце, встал навстречу друзьям. Он улыбался и молчал, распахнув руки.

– Здорово, Никита, рад тебя видеть, – обнял его Аришин.

– Сильно не дави, а то заору ещё, – прошептал Никита на ухо.

С остальными он поздоровался за руку. Выбежала Таисия.

– Ребятки, давайте сядем прямо во дворе. Погода хорошая, чего дома сидеть, – предложила она. Быстро сообразили стол, скамейки и уселись прямо посреди двора. Хозяйка стала собирать на стол, накладывая из кастрюль, стоявших на печи. Никита принёс стаканы и ложки. Вскоре стол был готов. Водку быстро разлили, встал Белов:

– Нынче я вас поздравляю от имени и по поручению, и от себя тоже. Дорогие мои земляки, рад поздравить вас с праздником Победы, пожелать вам здоровья, будьте такими всегда, как сейчас, крепче стойте на ногах и поддерживайте друг друга. За вас! И за нас, – добавил он и выпил до дна.

Лиха беда – начало. Вставали фронтовики, говорили дежурные слова, потому что красноречию не обучены, и выпивали. Так продолжалось довольно долго. Потом встал Никита, поднял стакан и тихо проговорил:

– Спасибо вам, мужики, что не бросили моих в такой час, помогли, чем могли. Мне Таисия рассказала, что вы сделали. Большое вам всем

спасибо и поклон. За вас, – Никита, лишь пригублявший до этого, выпил всё до конца.

– Чего там?

– Какой разговор?

Уже уехал Белов с начальством, некоторые мужики в изрядном подпитии ушли домой. Иван Аришин и Панкрат сидели с Никитой и разговаривали.

– Тяжело в тюрьме? – спросил Иван.

– На фронте был? Вот в тюрьме похуже будет.

– Чего там делают?

– А как в колхозе. Вкалывай с утра до ночи и помалкивай. Пайка, что бывший трудодень, даже лучше, потому что каждый день дают. Разница в том, что там каждый за себя.

– Вид у тебя неважный, Никита.

– Осколок сдвинулся. Я половину срока в больничке провалялся.

– Хреновое дело, – буркнул Панкрат.

– Хреновое. Осколок пошёл гулять, и сколько он отмерит мне, не знаю. Только помалкивайте, я Таисии пока не говорил.

– А с чего так получилось? То стоял, а то вдруг пошёл, – Панкрат закурил махорки.

– Тяжести мне поднимать нельзя было, а там кому объяснишь? Вот и получилось. Сперва покалывало, дальше – хуже. Пошёл в больничку в лагере. Хорошо, что там врач попался нормальный. Потом он признал меня, вспомнил, что такой случай был у него во время войны, стал рассказывать мне. Я его сразу признал, сказал ему, что это я и есть. Разговорились, припомнил он меня. Пошли к «куму», тамошнему начальнику.

– Его надо на рентген в город везти, – сказал врач.

– С чего это? – надменно спросил начальник.

– Осколок у него с войны сидит, посмотреть надо.

– У меня нет охраны его водить, лечи его здесь.

– Я у тебя охрану не прошу, разреши, я свожу его в поликлинику и проверю.

– А если убежит?

– Пристрелю при попытке к бегству, – сказал врач.

– Из чего? – любопытствовал начальник.

– У тебя пистолет возьму.

– Геройский врач, – Иван налил ещё немного водки.

– Он сам сидел в этом лагере, был доктором – арестантом. Потом, когда освободился, стал вольнонаёмным врачом, не захотел на старое место идти.

– Врачей за что садили?

– Умер кто-то на операции, сердце не выдержало, вот и обвинили. Такой же идиот, как и Одинцов, заявил, что во время войны от сердца не умирают. Разбираться не стали. Два года отбыл там. А меня проверили на рентгене, определили, что дело плохо. Тогда врач этот и взял меня в больничку работать. Там легче намного, и стал «наезжать» на начальника лагеря, чтобы меня пораньше освободили. Начальник – сухарь, но достал-таки его доктор. Выпустили на пару месяцев раньше. Вот и приехал.

– Дела, – протянул Панкрат, – не знаешь, где ушибёт. Сколько лет как войне конец, а глянь ты, следом прётся. Хочешь забыть, а она напомнит.

– Чай будете, говоруны? – спросила Таисия.

– Неси, хозяйка, горяченького, давай я тебе помогу, – Панкрат поднялся и пошёл под навес за чайником.

Когда друзья ушли, Никита с Таисией ещё долго сидели на крыльце и смотрели на россыпь мерцающих звёзд, пугающие тени старых елей у реки, туман, несмело поднимавшийся с огорода. Слушали невыразительные ночные шумы и шорохи. И радовались друг другу...

Умер Никита в сентябре. Пришёл из бани, лёг отдохнуть и не поднялся больше. Догнала его война, не увернулся солдат от своего осколка. Затихла деревня от вести этой, занемела. На похороны пришли все от мала до велика. Хоронили его в тёплый, тихий день бабьего лета на краю кладбища, на бугре, под длинными космами желтеющих берёз. Митрий Кузнецов сварил памятник со звездой наверху. Пусть знает каждый, что здесь лежит солдат.

На поминки столы поставили прямо на улице. Подходили и поминали все: кто водкой, кто блинами. Пришёл и Толянка Шумкин. Нашлась рюмка водки и для него: не гнать же из-за стола, раз пришёл...



Хромка

Рассказ

На высоком берегу речки возле старой мельницы лежала вросшая в землю валежина, служившая скамейкой для рабочих и мужиков, привозивших зерно на помол. Но сегодня мельница не работала, людей здесь не было, и только один старик сидел на валежине и задумчиво смотрел на мутную талую воду, наполнившую русло маленькой речки до краёв. Степан, так звали его, ничем не отличался от многих других стариков сибирских деревень. Давным-давно молодым парнем появился он в этих местах. Молодым и хромоногим. Чей-то злой язык бросил в его

сторону слово – хромка, которое стало прозвищем на всю жизнь. В глаза его так не называли, но в разговоре между собой люди иначе не величали как Хромка.

Сергей Иванов, проходивший в это холодное майское утро мимо старика, решил присесть, покурить да перекинуться парой слов со Степаном. Серёга, мужик лет тридцати пяти, работал трактористом на ферме. Подвозил корма, расталкивал навоз, выполнял всё, что было необходимо. Закончив все дела пораньше, Сергей шёл домой, надеясь успеть к началу празднования Дня Победы. В деревне было несколько святых праздников: «Октябрьская», Новый Год, Пасха, Троица. День Победы стоял в одном с ними ряду, но немножко особняком, потому что не было в деревне дома, где бы ни хранилась память о не вернувшихся с войны. В любом доме в эти дни накрывали стол. А как же! Праздник да не отметить? Гулять начинали ближе к обеду, так что Сергей успевал к застолью.

– Ты чего здесь сидишь один? – спросил он Степана, присаживаясь рядом.

– Люблю один побыть, а здесь благодать. Тихо, разве вода всхлипнет, да ветерок пошелестит сухой травкой.

– В деревне уже все праздник обмывают вовсю, а ты сторонись.

– Чего-чего, а погулять всегда минутка сыщется.

– Это верно, – согласился Сергей, – не хватит дня, так ночь прихватим. Ты, видно, давненько это место приглядел?

– По годам-то давно, а вспомнить, так будто вчера случилось. Раньше ходил сюда рыбки добыть на ужин, здесь место уловное было, теперь похуже.

– Небось, пацаном ещё сюда бегал?

– Нет. Нездешний я родом. Перед концом войны приехал сюда. К тому времени около года по госпиталям валялся. Всё ногу не могли вылечить. Там я и встретил вашего земляка Ивана Силина. Он тоже раненый был. Вот он и сказал мне, чтобы я сюда подавался.

– Ты, Степан, поезжай в Сибирь, на речку Бирюсу, там хорошо, пристройшься и со своей ногой, – сказал Иван. – Я тебе адресок отца дам, у него и поселишься. Батяка мой старенький уже, один живёт, помогать будешь помаленьку, вдвоём оно легче. Я и отцу писульку отправлю с тобой, обскажешь на словах обо мне, так, мол, и так, жив я и здоров. А ты барином там не станешь, но и голода знать не будешь. У нас и земля родит неплохо, лес и река выручают, если лениться не будешь. Лучше места тебе не сыскать, поезжай.

– Вот и приехал я сюда, к деду, значит, Силину Мокею Осиповичу. Старик принял меня хорошо, за сына родного, а годов мне было шестнадцать с небольшим. Только сдружились мы с дедом, как через полгода пришла похоронка на сына, значит, на Ивана. Дед Мокей поначалу крепился, но потом резко стал сдавать, а там и схоронили его. Как раз перед Победой. Остался я один в его хатёнке жить. Летом пас скотину, зимой сторожил ферму да амбары, так и обманывал время. Летом хорошо. В лесу грибы, ягоды... Пока скотина пасётся – иди и собирай. А на реке у меня удочки спрятаны были и котелок. Быстренько пескарей да ельчиков надёргаю, вот тебе и уха, куда с добром. Старушки, спасибо им, горбушку хлеба дадут, лука надёргают, бутылку молока вынесут – тем и сыт был. Хорошо, что ни говори.

– А как ты хромой пас стадо?

– А чего? Стадо было хорошее, само паслось, только присматривай понемногу. Да я и рыбу ловил, когда коровы улягутся у воды на галечнике отдохнуть. Там паутов поменьше. Часок лежат, а мне и хватало времени на свои дела. Зимой, правда, потяжелее было, но тоже ничего, терпимо. Помогу кому немного, так мне картошки дадут, капусты да огурцов. А кто и салом угостит. Вот и перебивался понемногу. Потом и привык. Будто и родился для того, чтобы зиму да лето побеждать. От снега до зелёной травки да наоборот.

– Женился бы да жил, как люди.

– Так хромой же я. Кому нужен Хромка. Так меня за глаза зовут. А я ничего, я не обижаюсь. Поначалу, правда, едва не плакал, а потом дед Мокей сказал:

– Ничего, Стёпка, у нас в давние времена в деревне жил мужик, прозвище было Жопогляд, так он смолоду и до смерти проносил это прозвище. А Хромка? И ничего, вроде, срамного нету. Ну, хромой, так на то и война была, скольких поискалечила, а люди языком мелют, так и что? Главное, чтобы без злобы.

– Привык я один жить, даже и нравилось. Годов десять промыкался так, а потом случилось вот что. У моей супружницы будущей, Марьи, был сын Никитка, хороший парнишка, работающий, шустрый. В пятнадцать лет уже вместе с мужиками лес заготавливал, вот там и задавило его лесиной. Не успел отскочить от комля, дерево упало, да сразу мальчика насмерть зашибло. Целый год горевала Мария одна, муж у неё с фронта не вернулся, а потом пришла под вечер ко мне в хатёнку, посмотрела, покачала головой и сказала:

– Собирайся, пойдёшь ко мне жить, а то болтаешься, будто неприкаянный, мне хоть забота будет.

– Я, было, стал отнекиваться, стеснялся, ведь она старше меня на шесть годков. Да только она сама связала мои нехитрые пожитки в узел, взяла меня за руку и повела, как телка, на свой двор. Бабы посмеивались над нами, да недолго. Зависть прошла, и смех закончился. И мы слюбились со временем, с тех пор друг дружку по жизни так и тянем за руки, то она меня, то я её. Только вот Бог детишек не дал, да что теперь? Видно, не заслужили.

– Почтальонша говорила, будто тебе повестка из военкомата была? – спросил Серёга.

– Верно, была.

– Ездил?

– А как же? В военкомат и милицию ехать надо самому, пока зовут, а то приедут, в воронки посадят, тогда сраму не оберёшься.

– Чего звали-то?

– А вот, – Степан вытащил из внутреннего кармана белую тряпицу и развернул её.

На ладони красовался орден Красной Звезды.

– Откуда такое богатство? – удивился Сергей. – Дай глянуть.

– Так там и дали. А ещё книжку такую, где написано, что я участник войны, что мне полагаются разные льготы.

– Так ты у нас герой?

– Да какой я герой? Я эту войну и в глаза не видел.

– А это? – Сергей указал на награду.

– Я тебе расскажу, только ты не смейся. Узнаешь, какой я фронтовик. Мне же тогда пятнадцать лет было. Перед войной жил я с бабкой Матрёной, родителей помню плохо, померли в голодные тридцатые. Меня бабка спасла, а потом и растила. Её я тоже схоронил перед самой войной, старенькая была уже. Взял меня к себе сосед дед Тихон, а тут война подоспела. Подались все, кто мог, в партизаны, и я тоже. Только там мне и делов-то было, что помогал на кухне да в лазарете, воду таскал да печи топил. Больше года болтался по лагерю. Однажды подходит ко мне дед Тихон и говорит:

– Собирайся, пойдём с тобой посмотрим кое-что.

– Я, довольный, быстренько собрался и докладываю деду, что, мол, к бою готов. Дед мне долго объяснял, что мы пойдём в дальнюю деревню (там проходила железная дорога), поглядим чего там и вернёмся. Я

даже огорчился было, только представилась возможность показать себя в сражении, а тут и бой не намечается.

Дошли спокойно. Только здесь дед объяснил, что надо взорвать какой-то важный эшелон. Когда мы подложили под рельс взрывчатку, оказалось, что запальный шнур совсем короткий и его надо подпаливать перед самым поездом. Времени убежать не останется совсем. Дед стал мне наказывать, как добраться назад одному, потому как решил, что лучше самому погибнуть, а задание выполнить. Но убедил я деда доверить это дело мне. Говорю, что у меня ноги быстрые, как сигану, и никакие осколки меня не догонят. Не сразу, но дед согласился. Мы всё переговорили, перепроверили, и я остался ждать поезда. Дед отошёл к лесу. Чем ближе подходило время, тем мне становилось страшнее. Что я передумал и не скажу – стыдно, только в нужный момент, когда поезд проходил условленное место, я всё же чиркнул спичку, посмотрел, как из шнура фыркнуло пламя, и пошёл дым, а потом дал дёру, что было сил. Летел я, не касаясь травы, только вдруг, как жажнуло по ноге – и всё. Больше ничего и не помню. Очнулся в отряде, в лазарете. Дед Тихон на себе принёс. Он-то и рассказал, что меня срезали из пулемёта, который стоял впереди на платформе. А потом как рвануло, состав полетел на другую сторону насыпи, а дед воспользовался суматохой, утащил меня в лес.

Степан улыбнулся, вспоминая, как лежал в лазарете, как ему приносили сахар и трофейный шоколад и называли героем. А когда ранило командира отряда и за ним прислали санитарный самолёт, нашлось место и для Степана. А дальше один госпиталь, затем другой. Нога так и срослась как попало, и остался Степан хромым на всю жизнь.

– А награду только сейчас дали? – спросил Сергей.

– Нет. Награду назначили вскоре, да только где меня искать было? Эшелон оказался очень важным, вот и орден не пожалели. Так мне в военкомате объяснили.

– Да. Дела!

– А потом меня отыскивали, пригласили в военкомат, там и вручили. Говорят, мол, герой. А какой я герой? Мужики грудь в грудь бились на фронте, а я и немца только издалека видел. Хотел было отказаться, да только, как взял орден в руки, так сразу и вспомнились родные места, бабка Матрёна, дед Тихон да другие селяне. Тогда и не стал отказываться. Теперь и хожу сюда, на орден посмотрю да своих вспомню. Ты, Сергей, только не смейся, старый я стал уже, грех надо мной подсмеиваться.

Степан положил награду в карман и, опираясь на самодельную трость, пошёл в деревню, стараясь хромать поменьше.

Сергей быстро направился к магазину, где обычно праздновали День Победы фронтовики. Вскоре целая делегация подошла к дому Степана.

– Мария! Показывай нам героя, куда ты его спрятала? – кричали подвыпившие фронтовики.

Вышел и Степан.

– Качать героя! – крикнул кто-то.

Степана подхватили и стали подбрасывать и кричать:

– Ура!

А когда Мария вынесла орден на белой тряпице, толпа затихла. Люди подходили, смотрели, улыбались.

– Вот тебе и Хромка, – шептались бабы. – А ить мальчишкой приехал совсем.

Потом соорудили столы прямо во дворе и устроили праздник. Не просто там какая-нибудь складчина, а самый настоящий День Победы.

Степан с Марией сидели на завалинке, украдкой вытирая слёзы, а на стареньком пиджаке героя красовался орден.



Рената Вафина

Извините, меня долго не было

Рассказ

– Здравствуйте!

Девушка с пушистой копной кудрявых волос прислоняет свой велосипед к металлической ограде с потрескавшейся краской. К багажнику велосипеда аккуратно прикреплены грабли, ящичек с какими-то принадлежностями и бумажный сверток. Острая часть грабель предусмотрительно обмотана пакетом.

Девушка с трудом открывает вросшую в землю калитку, попутно поправив стенку забора и подперев ее лежащей недалеко веткой.

– Извините, меня долго не было.

Она замечает замшелую уже лавочку, затерянную в высокой, выше колена, траве. Незнакомка открепляет багаж и кладет его на лавку, подстелив целлофан от грабель.

– Ну, как вы тут? – она подходит к каменному надгробию со скошенным верхом, закрытому ветками разросшегося куста. Отодвигает ветви, протирает от грязи чью-то выцветшую фотографию, смотрит на годы жизни. Тихо вздыхает и начинает подрезать некстати растущее деревце.

– А у меня, знаете, всё хорошо. Сынишка вот растет. Шалопай такой... – она нежно качает головой и улыбается. Руки споро работают садовыми ножницами, и вот уже памятник очищен от вмешательства природы. Девушка поднимает грабли и начинает аккуратно собирать сухую траву, мешающую вырасти новой, свежей и зеленой.

– Еще в одной компании работу пообещали. И слава Богу, а то уже надоело всем шали вязать...

На ней удобные, закатанные до середины икр джинсы и старая голубая рубашка. Девушка работает умело и быстро, и вскоре могила принимает ухоженный вид. Незнакомка соскребает мох с лавки и присаживается. Открывает сверток. Там – блины и кисель в маленькой пластмассовой бутылке из-под минералки. Она открывает бутылку и с наслаждением пьет. Съедает пару блинов, а еще два кладет на могилу.

– Спите спокойно.

Девушка выравнивает забор, очищает дорожку к калитке, крепит вылетевшие болты. Починив забор, она смазывает петли и завязывает небольшую светлую ленточку на один из прутьев.

– Ну, пока. Счастья вам там, – она поднимает глаза к голубому небу с бегущими по нему легкими облаками. Забирает инструменты и бумагу, закрывает калитку, садится на велосипед и, отталкиваясь, уезжает прочь к кладбищенским воротам.

Над старой могилой тихо качают ветками деревья.

Спустя некоторое время.

Тихий солнечный день. По дорожке к старой части кладбища едет, подпрыгивая на кочках и чуть побрякивая звонком, уже знакомый нам зеленый велосипед. Теперь на его багажнике сидит мальчишка лет пяти. Одной рукой он крепко держится за сиденье, другой держит грабли – вертикально, чтобы никого не задеть. Ящик с инструментом болтается на руле. С другой стороны – пакет с банкой краски и малярной кистью, при каждом повороте стучащий о раму. За спиной у парнишки небольшой рюкзачок. Пышные волосы девушки собраны в хвост и покрыты косынкой.

Они подъезжают к явно уже заброшенному захоронению. Огромная, просто монументальная каменная стела с бледно-красной звездой на верхушке. Слишком большая для такой маленькой ограды. Забор давно покосился, а могила совсем исчезла под весом памятника. Да и сам он накренен на один бок, а некогда серебряная краска облупилась и лохмотьями лежит у основания. Девушка сокрушенно охает, но не сворачивает, а останавливается и снимает сына с багажника.

Мальчик смысленным взглядом окидывает стелу и замечает:

– Звездочка. Это значит, что он воевал?

– Да, мой милый. Посмотри, какой громадный памятник. Наверное, он заслужил его.

– Как же тогда про него забыли?

Девушка лишь печально пожимает плечами. Мальчонка, явно недовольный такой несправедливостью, дергает калитку, но не может открыть ее.

Совместными усилиями они отворяют дверцу и с трудом входят внутрь. Два голоса негромко говорят вслух:

– Здравствуйте!..

– Извините, нас долго не было...



Землю покрывает сплошной ковер из палых листьев и полусгнившей хвои. Двое принимают за дело. Вскоре под покровом ветхой березовой листвы становится видна трава – совсем еще маленькая, которая вырастет и украсит это место.

В этот момент к могиле неподалеку подходит старый человек с тростью. Отворяет скрипящую калитку. Могила, к которой он пришел, в отличие от прежде виденной нами, довольно ухожена. Там растет невысокая трава, надгробие чистое, лежат свежие цветы. Старик присаживается на лавочку у забора и неприязненно глядит на негромко переговаривающуюся пару невдалеке от него.

Мальчик и мать в это время пытаются выровнять памятник и вернуть ему первоначальный вид. Приложив огромные усилия, они возвращают его в вертикальное положение. Девушка протирает звезду и ищет хотя бы табличку с эпитафией, мальчик в это время открывает банку с серебристой краской и начинает обновлять памятник.

Закончив работу, эта странная парочка кладет на землю у основания надгробия два живых цветка. Это ромашки. Затем доедают печенье, а две штуки кладут к цветам.

– Спите спокойно, – говорит девушка, и мальчонка вторит ей:

– Спите спокойно...

Мальчик аккуратно затворяет свежеекрашенную калитку, девушка ищет специально оставленный небольшой участок, на который и крепит светлую ленточку. Тем временем к ним подошёл сердитый старик.

Услышав шаги, мальчик удивленно оглядывается на довольно-таки злой оклик:

– Молодые люди!..

Девушка спокойно поднимает глаза:

– Здравствуйте. Что-то не так?

Старик, пытаясь отдышаться, с хрипом выталкивает из себя слова:

– Я хожу... к этой могиле... – трость указывает на то место, у которого он только что сидел, – вот уже двадцать пять лет. – Мальчик быстро стреляет глазами на указанное и видит пронзительные глаза женщины средних лет. – ...И я ни разу, заметьте, ни разу, не видел здесь вас. Год за годом я ходил сюда к своей жене, а эта могила все ветшала и ветшала. Что же вы так внезапно вспомнили про дедушку? – его тяжелый взгляд уперся в лицо молодой женщине.

– Он нам не дедушка, – попытался запротестовать парнишка, но мать перебила его:

– Подожди, малыш. Да, – сказала она, обращаясь к старику, – этот человек нам не родственник. Я вообще, если честно, не знаю, как его зовут. Там, к сожалению, не подписано.

Девушка сажает мальчика на багажник велосипеда, вручает ему грабли, вешает инструменты по обеим сторонам руля. Старик сопровождает все это удивленным взглядом.

– Тогда... что же вы тут делаете?

– Не знаю, – девушка пожимает плечами. И смущенно улыбается, ставя ногу на педаль, – должен же кто-то за ними ухаживать.

Она отталкивается от земли и тяжело катит по старой, изрытой ямами кладбищенской дороге. Мальчик на мгновение отрывает руку от сидения и машет ладошкой на прощание удивленному старику.

Мужчина оборачивается, окидывает взглядом могилы вокруг и видит десятки светлых ленточек, колеблющихся на тихом ветру.



Елена Галимжанова

Война коснулась каждого

Рассказ

– Деда, расскажи про войну, – просит Ленка своего дедушку. – Мне надо написать сочинение к празднику Победы, к 9 мая.

Дед прошел всю войну с самого начала и даже после Победы еще несколько лет служил в Армии. Он был офицером, повидал многое, но почему-то не любил говорить про войну. И на этот раз посмотрел на Ленку своими красивыми голубыми глазами, погладил её по голове и, глубоко вздохнув, сказал:

– Не люблю я про это болтать, попроси бабушку, она боевая была, она лучше расскажет, чем я.

Бабушка на кухне возилась с тестом и на просьбу внучки среагировала неохотно:

– Да разве можно об этом рассказать? Возьми вон книжку и напиши по ней сочинение.

Дома было много книг, в том числе и на военную тему, но писать по книжке Ленке не хотелось, да и учительница сказала, что сочинение должно быть про людей, прошедших войну и живущих рядом. Со своей проблемой она пошла к отцу, который всегда был готов помочь дочери.

Ленка нашла отца в летней кухне, где он мастерил высокий детский стульчик для младшего сына.

– Пап, мне надо написать сочинение про войну и про Победу. Поможешь? – спросила Ленка. Отец посмотрел на нее, думая о чем-то своём, и тихо сказал:

– Доня, так я же не воевал. Я в войну был пацаном.

Ленка расстроилась. Ну почему так? Она гордилась своими дедушкой и бабушкой, которые пользовались всеобщим уважением окружающих, но почему-то они не захотели помочь внучке написать сочинение. Отец, который всегда был опорой и надеждой дочки во всех ее делах, тоже на просьбу ответил отказом. Она еще не понимала, почему люди, пережившие войну, не хотели о ней говорить. Возможно, прошло бы больше времени от конца войны, унялась бы боль от потерь, они бы стали рассказывать, но в начале шестидесятых годов прошлого века,

все пережитое в годы войны было свежо в памяти солдат, оставшихся в живых. Огнём сжигала сердца горечь потерь...

Отец сел на самодельный верстак, закурил и посмотрел на дочь, готовую вот-вот разреветься, а этого он не мог допустить.

– Ладно, доня, садись, – отец убрал заготовки для стульчика, освободив место на верстаке для тетрадки, пододвинул табурет:

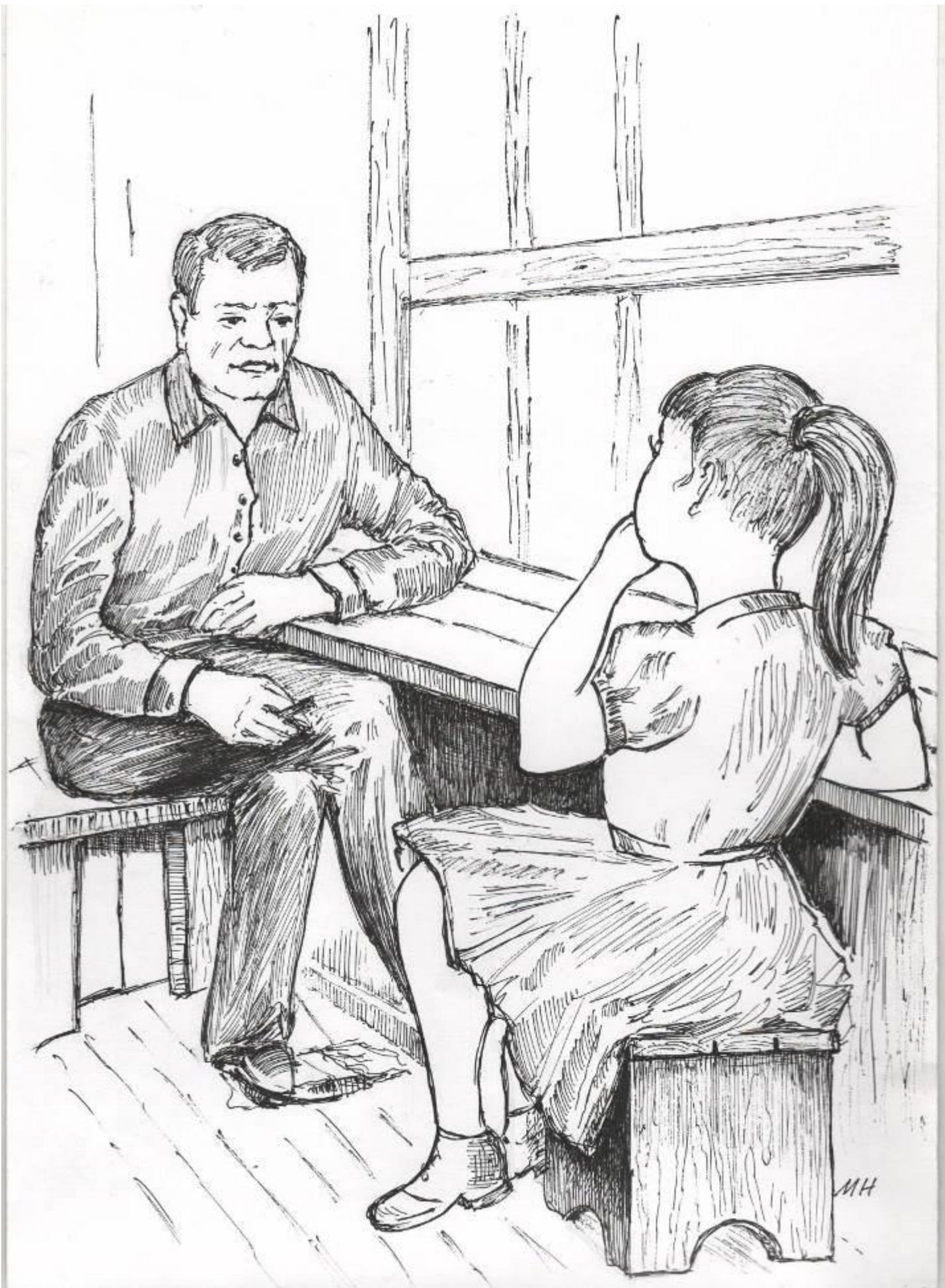
– Будем писать, но сначала слушай, а потом сама решишь что выбрать.

Ленка уселась поудобней на табурете, и стала слушать рассказ отца.

– Знаешь, доня, когда началась война, мне не было и двенадцати лет. Было жаркое лето, каникулы. В то время до нас как-то не доходил полный смысл слова «война». Мы воспринимали войну как что-то неестественное, фантастическое. В городке постоянно провожали кого-то в армию, а мы весёлой гурьбой бежали за машинами, увозящими молодых парней. Постепенно улицы становились пустынными. Молодые парни и девушки, которых ещё не взяли в армию, рано утром спешили на работу, заменяя тех, кто ушел воевать. Вечером уставшие, измотанные, голодные тихо возвращались домой. И только в сентябре, когда пришли в школу, мы поняли, что такое война. В школе остались только педагоги-женщины и старый одноногий сторож. Директор школы, физрук, историк и географ ушли на фронт.

На первом же уроке наша классная руководительница поставила перед нами задачу: учиться, учиться и учиться. Учиться на одни пятерки, чтобы не было стыдно перед теми, кто воюет за нашу свободу и жизнь. И представляешь, доня, все стали учиться намного лучше, чем раньше. Было стыдно не выучить урок, не сделать домашнее задание. Прогуливать уроки даже не помышляли.

Домашняя работа тоже легла на наши плечи. Дедушка твой, мой отец, всю войну работал в шахте забойщиком, а бабушка Катя, моя мама, на заводе технологом. Домой они приходили только ночевать, а отец другой раз не выходил из шахты по несколько дней подряд. Поэтому вся работа была разделена между нами, старшими детьми: моим братом Володей, он на год младше меня, и сестрой Валею, которой в начале войны было всего шесть лет. Координатором по хозяйству была бабушка Василиса, мама отца, которой было больше восьмидесяти лет. У нее сильно болели ноги, и она с трудом передвигалась по дому. Шла война, и даже немощные старухи старались по мере сил помогать своим детям и внукам.



Мы с Володей должны были ежедневно носить в дом воду, дрова, чтобы бабушка Василиса могла управляться на кухне, не выходя из дома. Перед тем как идти в школу, шли в стайку, доили корову, кормили всю живность, а, придя из школы, чистили стайку и бежали на шахту с узелком, в котором был собран бабушкой Василисой незамысловатый обед для отца: бутылка молока, отварной картофель и ломтик хлеба. А вечером, когда все работы по хозяйству были сделаны, мы собирались у печи и в ожидании родителей занимались каждый своим делом. Бабушка Василиса пряла шерсть, мы с Володей (а нас рано бабушка научила вязать) вязали носки и варежки, которые сдавались на нужды фронта. Валя занимала игрой Юру, который родился 1 мая 1941 года. Мирно потрескивали дрова в печи, и казалось, все хорошо и нигде нет никакой войны.

Но война постоянно напоминала о себе похоронками, от которых были все бабы в округе, санитарными поездами, которые приходили на наш полустанок и с которых выгружали раненых и умерших. И постоянным желанием что-то съесть. Есть хотелось всегда. Даже те, кто вел свое хозяйство, не могли досыта кормить детей, так как произведенную в домашнем хозяйстве продукцию сдавали государству. Но никто не роптал – все понимали, что это надо для фронта, а значит, для Победы.

Нас, школьников, начиная с шестого класса, отправляли в колхоз на уборку урожая. Мы с готовностью выполняли любую работу, несмотря на то, что дома нам также надо было копать картошку, готовить сено скотине, прибрать дрова – да мало ли работы по дому.

А когда с фронта приходили санитарные поезда, нас, мальчишек, отправляли на станцию помогать разгружать вагоны. Мы по четыре – шесть человек принимали из вагонов носилки с ранеными и несли в помещение младшей школы, которая была оборудована под госпиталь. И вот один раз весной сорок третьего года мы разгружали состав и, когда понесли раненого от поезда через школьный двор, тот попросил: «Ребятусики, дайте мне в руку снега». Мы поставили носилки на землю, слепили снежок и протянули ему. Раненый прижал холодный комочек к лицу и затих... Мы замерли от неожиданности. Впервые в жизни мы увидели, как умер человек. Мы растерялись и заплакали. Стоим, ревом, растирая кулаком слёзы по лицу, и не знаем, что делать дальше. Но тут подбежали взрослые. Женщина в белом халате сказала: «Ладно, ребята, спасибо за помощь. Он был не жилец – весь прошит автоматной очередью, невероятно, как он доехал до Сибири, до госпиталя. Не

плачете, дети, это война». Подошли двое взрослых мужчин, подняли носилки и понесли в школьный сарай. Вот так мы столкнулись с войной воочию. Война преподнесла нам жестокий урок, показав своё истинное лицо. Только тогда мы поняли, что война – это смерть.

Помню, когда пришла похоронка на маминого брата, было непонятно, как связать между собой войну, эту бумажку и красивого, весёлого дядю Яшу. Погрустил немного я тогда, посочувствовал теткам и матери и как бы забыл о похоронке. Казалось, что дядя Яша, такой большой и смешливый, вернётся скоро, как люди возвращаются с работы. Но вот когда умер раненый боец, тут и проснулось осознание того, что такое «погиб на войне» и почему так воют неистово женщины, получив похоронку.

Так что, доня, дети военных лет – это тоже участники войны, только за фронтом, в тылу, но с такими же потерями, как на войне. Ведь и в нашей Сибири война коснулась каждого.

– Пап, а мне-то что писать? – взмолилась Ленка. Рассказ отца заставил её всплакнуть.

– Да, доня, так и напиши: война – это страшное дело, и не дай господь её повторить, – сказал отец и принялся собирать стульчик из заготовок, повернувшись к Ленке спиной.

Ленка посмотрела на спину отца, и ей показалось, что он плачет.



Надежда Дегтярёва

Последний день войны

Зарисовки из прошлой жизни

Баба Шура и её семья

Сундук был большой, потемневший от времени, с плоской крышкой. Его углы были оббиты металлическими накладками, по бокам слепо проступали остатки рисунка. Александре Александровне он достался от матери: больше не во что было сложить ее немудрящее приданое. Сейчас кроме стираного-перестираного бельяшка, стареньких простыней да каких-то обиходных тряпок хранилось там одно выходное платье, лет которому было уже не мерено. Единственное Шуркино богатство. А ещё на самом дне сундука лежал рушничок, вышитый еще руками бабушки. Это память о дедушке – казаке. К ценностям сундука также относилась жестяная коробка из-под китайского чая, в которой лежали метрики, письма, важные бумаги да узелок с лампасейками. Лампасеек оставалось восемь штук, как раз на два раза младшим ребятишкам: Вовке, Гошке, Ольге и Лизке. Старшему Алешке конфеты не полагались. Большой уже.

Перебрав все в сундуке, Александра Александровна тяжело вздохнула, закрыла тяжелую крышку и присела на табуретку. Это была высокая женщина лет пятидесяти, не сломленная годами и тяжелой работой. Волосы, густые и крепкие, уже поседевшие на висках, были закручены в тугий узел, скуластое лицо ее выглядело суровым. Перед ней стоял каждодневный больной вопрос: чем накормить свою большую семью. Есть хотели все и всегда. И вопрос, что сварить и из чего, мучил ее постоянно. Доходов было меньше, чем ртов. На больного мужа выдавалась карточка иждивенца, сын Алешка работал учеником токаря на паровозоремонтном заводе, имел карточку рабочего. Хорошо, что кроме карточек, ему там выдавалась еще похлебка с куском хлеба, а то бы мальчишка не смог взгромоздиться на ящик перед станком. Сама Шура стирала халаты и постельное белье, привозимые ей домой на старой лошади из военного эвакогоспиталя. Да младшая дочь,

служившая писарем в штабе воинской части, отоваривала аттестат. А уж какие деньги на этот аттестат полагались? Копейки! Вот и весь доход. Хорошо еще, что рядом с домом был маленький огородик, где весной Шура старалась воткнуть в любое свободное место какой-нибудь овощ. Она любила свой маленький домик на Хабаровской. В нем всегда было чисто, хотя и бедно. Да и огородницей она была от Бога. Все грядочки у нее были ровненькие, чистенькие от сорняков, росло здесь все самое необходимое: морковь, свекла, лук, чеснок да картошка. Воду носили на полив из болотинки, почти вплотную подобравшейся к заборчику. Цветам места не было – роскошь! В курятнике жило три курицы, охраняемые всеми домочадцами. Сторожила их и старая рыжая дворняга со странной кличкой Иван Иваныч.

По карточкам выдавался очень скудный перечень продуктов. Вроде и с голода еще не умирали, но уже забыли, когда ели досыта. Конечно, хорошим подспорьем были свежие яйца. Каждое яйцо бережно приносилось на кухню и складывалось в чашку. В базарный день Шура брала три яйца, складывала их на салфетку в чашку и шла на толкучку. Салфетка всегда была чистая, выглаженная, сама Александра причесанная, аккуратная. Внешний вид на базаре имел большое значение. Шурочку знали в городе, и доверяли ей. Три яйца менялись на рюмку подсолнечного масла или на полстакана пшена. Очень редко, по праздникам, только ребятишкам делалась болтанка из пары яиц. Сейчас уже, к весне сорок пятого, когда победа над фашистами была делом решенным, жить стало немного полегче. Разнообразнее и больше стали выдавать продуктов по карточкам. А вот в первые годы войны было очень голодно. Хорошо, что в городе еще была работа, значит, были карточки, была надежда выжить, дотянуть до Победы, в которую верили свято. А вот под Читой, в деревнях (доходили слухи) приходилось еще хуже, голод свирепствовал нешуточный. Особенно в конце сорок второго. Бабы на базаре с испуганными глазами, оглядываясь по сторонам, говорили, что тут, недалече, в деревне два брата подростка от голода зарезали и съели своего сверстника. А в Шилкинском районе мужик в отчаянии зарубил всех своих: мать, жену, шестерых детей. И застрелился сам.¹ А слухи это были или правда – поди проверь...

Тяжело еще было по той причине, что муж Александры был болен – туберкулез сжигал его легкие. И хоть он добросовестно пил назначенные

¹ факты действительные, отраженные в протоколах НКВД. Конец 1942 г.



врачами таблетки, дела его были плохи, потому что о полноценном питании не могло быть и речи... Сам Иван Михеевич понимал, что ему уже не выздороветь, но детей надо было спасать... Вставал он с трудом, очень редко и только с чьей-нибудь помощью. Малышню к нему не пускали, хотя они и заглядывали с любопытством за занавеску. Дед, лежащий в полумраке запечья, был такой таинственный...

С этой ребятней были, конечно, большие проблемы. Одна дочь Александры Александровны, Мария, вышла замуж еще до войны, уехала со своим адвокатом в Ленинград, и там попала в окружение вместе с малолетним сыном Вовкой. Им посчастливилось вырваться из осажденного города раньше, чем там начался ужас блокады – помогла беременность и маленький сын. Уже здесь, на Большой земле, они долго добирались до родного города, подальше от войны, ближе к матери. В Чите Мария родила дочь. Подрастив ее чуть-чуть, она уехала искать свое счастье, оставив обоих детей матери и иногда появляясь для

контроля. Вовке сейчас было десять лет, это был драчливый сорванец, каких еще поискать надо. У него уже было свое дело – голуби. И все старые голубятники округи знали мальчишку, торговавшегося сизарями. В маленькой голубятне на чердаке дома всегда были голуби на продажу. Выбракované птицы шли в суп. Так что Вовка тоже был кормильцем.

Еще раньше, в начале ноября сорок первого, и младшая дочь Нина, которая перед самой войной вышла замуж за кадрового офицера, родила дочь Ольгу. Когда началась война, Алексей решил увезти Нину к своим родителям, да не успел: начались роды, и Нину сняли с поезда, сначала отправили в роддом, а затем, как гражданку без документов, выслали в лагерь на Урал до выяснения личности. Муж в этой суматохе не успел даже отдать ей паспорт... И только летом сорок второго Нина попала наконец домой. Чуть- чуть опередив похоронку на мужа...

Ольга с Лизкой, (дочки Марии и Нины) отощавшие за первые годы своей жизни, вытянулись былинками, но уверенно росли под крепкой Шуриной рукой. Ольга как старшая командовала своей сестренкой, а та, хитрая и сообразительная, старалась от этой опеки увернуться. За ними нужен был глаз да глаз.

Был еще в семье Гошка, сын двоюродной сестры. Родившийся перед самой войной, он рос крепким мальчонкой, шустрым и рассудительным. Причина, по которой Шура растила и Гошку, была житейская: сестра Анна, медик по образованию, помогла соседке избавиться от беременности, да неудачно. Женщина умерла. Вот и скрывалась Анна где-то на просторах Казахстана. Гошка сначала жил у Александры Александровны, но в самое тяжелое лихолетье его пришлось сдать в детский дом. Выкормили бы и его, да Шура побоялась, что через Гошку быстрее найдут сестру. А так все было безопаснее. Шурочка по выходным, если удавалось выкроить время, ходила его навещать.

Старший Лешка, единственный сын, был уже самостоятельный мужичок. Он работал. Пусть пока еще просто учеником токаря, но он очень гордился этим. Лёшка точил болванки к снарядам на стареньком станке, взгромоздившись на большую подставку, был вечно голоден, от этого сильно мёрз, но не унывал. Пройдёт время, и учащийся железнодорожного училища Алексей Малюгин будет жить в мирное время, учиться в институте, станет совсем взрослым! Жаль, что сейчас он мал и годами, и ростом. Ему очень хотелось быть более полезным семье.

Вот такое семейство держалось на плечах Александры Александровны Малюгиной в самом начале мая сорок пятого года.

Шура

Во дворе раздался лай собаки, бряцание щеколды. Александра Александровна поднялась с табуретки, захлопнула сундук и вышла из дома. Приоткрыв калитку, Евсеич, дед, работавший в госпитале и привозивший стирку, посвистывал Иван Ивановичу. Собака для острастки лаяла, натянув цепь, но в пределах разумного: Евсеича она знала и беды от него не ждала. Увидев хозяйку, возчик заулыбался:

– Ляксандра, принимай работу! Свежую!

– Добрый день, Евсеич! Бегу, бегу!

Она подхватила тяжелый узел с бельем, другой, третий. Еще два помог Евсеич занести.

– Ляксандра, ты радиву-то слушала? Наши-то уж фрицев около самого главного бункера бьют! Скоро, скоро задавим гадов!

– И не говори! Скорее уж! – Александра рукой провела по вспотевшему лбу, по волосам. – Может, и Иван найдется где? Уже полгода как без вести пропал...

Иван, младший брат, воевал рядовым пехоты с самого начала войны. Бог берег его все первые годы, самые тяжелые, а тут, под занавес войны, Ивана закрутила военная машина, сгинул он где-то на чужбине, и нет известий, жив ли, мертв ли...

Шура попрощалась с Евсеичем, перетаскала узлы под навес, где у нее было место для стирки приспособлено: два корыта с холодной водой для замачивания, печурка с баками для кипячения белья. На крыльцо выбежали Ольга с Лизкой, мелькая голыми пятками.

Шура загнала внучек домой, сама зашла следом и принялась по привычке ругать их:

– Ишь, егозята какие! Сначала умыться надо, заплестись, потом и на улицу пойдете.

Внучек она заплетала туго, волосок к волоску. Косички получались тонюсенькие, но воинственно торчали в разные стороны. Заплетала их Шурка по всем правилам: ровный пробор, две тугие косицы, похожие на мышиный хвостик – и тряпочки на кончиках. О лентах тогда и не мечтали. Внучки молча терпели, пока бабушка приводила в порядок их головы. Знали – пискнешь, попадет костяшками пальцев по макушке. Но при этом Лизка успевала корчить рожицы Ольге, пользуясь тем, что стоит спиной к бабушке и та не видит её проделок. Впрочем, баба Шура догадывалась...

Недовольна была Александра Александровна своей старшей дочерью. Нина (младшая), та хоть участвовала в семейных делах: и, что по аттестату положено, в семью отдавала, и по дому все делала. В штабе знали, что у малюсенькой Нины есть дочь, по возможности помогали, домой при случае отпускали. Маленькая, с тяжёлой косой ниже пояса, она смахивала на девчонку. На работе её уважали за грамотность и покладистый характер.

А вот Мария, подкинув детей матери, ускакала неизвестно куда, изредка появляясь на день-другой. Мать выговаривала ей свои обиды, она плакала, обещала забрать детей и снова куда-то пропадала: то ли за старым мужем вдогонку, то ли нового искала. После каждого ее приезда оставалась пара приличных платьев, которые Шура, стыдясь смотреть в глаза покупателям, продавала на базаре – детей надо было кормить, они ни в чем не виноваты.

Накормив девчонок (Вовка уже давно убежал по своим голубиным делам), Александра Александровна зашла за занавеску к мужу. Иван Михеевич лежал, приподнявшись на подушках. Он совсем ослаб, испарина выступила на его высоком лбу, густые отросшие волосы, потемневшие от пота, стояли ершиком. Шура вытерла лицо мужа, погладила его высохшую руку. Оба понимали, что болезнь слишком запущена... Иван Михеевич был вторым мужем Шурочки, первый погиб очень давно, пожилы-то с ним совсем ничего. Малюгин был тихим, приветливым, заботился о жене и детях, больше помалкивал да отшучивался. Видно, сказывались забайкальские корни. До войны работал, кем придется, еще раньше имел тощую лошаденку, возил груз. Соседские бабы завидовали спокойной жизни Шурочки: у многих мужей считалось нормой, напившись, намотать косу на руку да поучить жену. Так, на всякий случай. Война всех смирила, объединила одной общей бедой.

– Детишки на улицу побежали? – Михеевич слабо улыбнулся жене. – Весна, тепло там!

– Тепло, день хороший! Может, до завалинки помочь добраться?

Шура любила этого мужчину, больного, сейчас такого немого, но шедшего с ней по жизни рядом, оберегавшего ее от бед. Она не боялась заболеть рядом с ним, некогда было и думать об этом, надо было целый день варить, стирать, кормить, просто выживать, тянуть воз из последних бабьих сил. С малолетства она работала то в няньках, то домработницей, в людях, как говорили в то время. Грамоте она была не обучена, лишь Анна Даниловна, жена врача, у которых Шурка нянчилась

с ребёнком, ценя ее за честность и исполнительность, научила маленькую девчонку считать да расписываться. Перевороты в Чите: то казаки, то японцы, то белые, то большевики, да просто бедность, не дали ей возможности ходить в школу в свое время, а потом было некогда. Но детей своих Шура старалась выучить, понимая, что за грамотностью стоит лучшая жизнь.

– А помоги, пожалуй! Кто знает, когда еще смогу, вроде сегодня получше себя чую.

Вдвоем выбрались на завалинку. Шура укутала мужа, пододвинула табуретку для дополнительной опоры и побежала стирать. Сначала перебрала госпитальное белье. Что просто грязное кидала в корыто сразу в стирку, а бинты, окровавленные, гнойные, скрученные, предварительно замачивала. За каждым марлевым мотком была чья-то боль, трагедия, смерть... Или надежда на жизнь. Разожгла печурку, поставив кипятиться халаты, плеснула щелока в бак. Госпиталь на стирку выделял куски темно-коричневого хозяйственного мыла, но Шура экономила его, отстирывая более чистое белье щелоком.

Ольга с Лизаветой играли здесь же, в ограде, но все норовили вылезти через подворотню на улицу. Куклами им служили маленькие чурочки, на которых химическим карандашом были нарисованы глаза и рот. Девочки заворачивали их в какие-то тряпочки, укладывали спать, что-то напевали им. Была у сестричек еще деревянная лошадка – дед вырезал ее для маленького Вовки. Но то, что это лошадка, знали лишь сами Малюгины: у лошадки уже не было ничего, что могло бы ее обозначить. Девчонки играли в углу ограды тихо, только писком изредка выражали свое недовольство. Понимали, взрослым не до них. Баба Шура между делом косила глазом на них, знала, чуть что – и сбегут, глазом моргнуть не успеешь. Такие случаи бывали. Тогда Шура садила внушек около завалинки, очерчивала прутом линию, которую пересекать было строго запрещено. Прут ставился здесь же для напоминания. «Лучше не нарушать запрет», – решили девочки после первого же наказания.

Собака подняла голову, молча вскочила, завиляла хвостом. Во двор, чуть прихрамывая, вошел Вовка, придерживая рукой разорванную рубашонку. За пазухой у него бился, вырываясь на свободу, голубь.

– Ого, опять подрался, чадо моё! – встретила его Александра Александровна. – Что, небось, и юшку пустили?

– Ну да, я сам кому хошь пуцу, – Вовка шмыгнул носом, подозрительно опухшим, и полез на голубятню устраивать пленника к

остальным сизарям. Баба Шура молча проводила внука глазами, вздохнула и начала намыливать отмокшие бинты. Она понимала, что до добра торговля голубями не доведет, но сказать было нечего, дети росли, их надо было кормить, одевать. А Вовка нет-нет да и продаст голубя, побрякает медяками. Все подспорье: где сам сыт, где остальным помощь. Раненые солдаты с охотой покупали птиц, скорее всего, соскучившись по мирной забаве, а может, просто хотели помочь сорванцу, видя в нем то ли себя в детстве, то ли своих детей.

Иван Михеевич, устав, запросился домой. Лег за своей занавеской и затих в своей беспомощности...

Сын Алешка

Цех жил, монотонно шумел работой оборудования: ременные передачи лентами сбегали с общего вала, крутились шкивы на станках, резцы врезались в металл, синеватая стружка спиралью свивалась в бесконечные пружинки, в мотки без начала и конца. Надо было крючком вовремя успеть отцепить стружку, замотанную причудливой металлической нитью. Чуть прошляпишь – и не освободишь запутанную болванку. У Алешки все руки были в тонких шрамах от острой, колючей стружки. Он гордился своими травмами перед младшими мальчишками, и они уважали его за почти боевые раны. Алешка считался уже опытным учеником, ему доверяли детали сложнее, чем остальным пацанам, и Дядька Иванович, наставник, не раз грел Лешкину душу словами, что, мол, и разряд ему можно дать повыше. Вот только устройство станка надо подучить. А еще Дядька Иванович говорил, что есть люди, у которых руки сами к металлу тянутся. Они душой чувствуют металл, на слух при заточке сверла могут определить правильность угла грани. Лешка пытался на наждаке затачивать сверло, прикрыв глаза, но, зацепив ноготь, побоялся экспериментировать дальше – не дорос еще видно. Сам Дядька Иванович демонстрировал ребятам такой фокус: бросал два прутка и по звону металла определял легированность проката. Кто-то, может, и не верил в чистоту опыта, но Иванович ошибался действительно редко. Таких пацанов, как Алешка, у Дядьки Иванovich было с десятков, но он никого особо не выделял, всех терпеливо учил. И жалел их той стариковской жалостью, когда всё понимаешь, а помочь ничем не можешь. Сердце сжималось у мастера, когда он видел измождённые лица ребят, но изменить что-либо было не в его силах. А ребята и не хотели жалости, они ощущали себя

взрослыми, нужными заводу. Часто, отстояв смену, они не уходили домой, а оставались здесь же, в цеху, стояли дальше на своих ящиках и точили, точили детали до голодного обморока, до полного изнеможения. Все для фронта, все для Победы. Это были не лозунги, это была правда. И каждый пацан понимал: нет ничего ответственнее его работы, его задания. Счастливым считался тот, кто присутствовал при проходах на фронт в сорок втором году бронепоезда «Забайкалец», изготовленного на родном заводе. Рассказы об этом событии передавались из уст в уста при малейшей возможности и свободной минутке. И пусть линия фронта была далеко, на западе, зато Квантунская армия была рядом, стояла у самой границы. И возможность войны с Японией была реальной штукой. Мальчишки, несмотря на малолетство, понимали все. Война дышала в их ребячьи затылки, приходила домой солдатскими треугольниками и похоронками.

Алешка работал уже больше года. Александре Александровне пришлось просить Дядьку Ивановича взять сына на завод. Тот жил по соседству, знал все подробности их жизни. Мальца полюбил как своего, как, впрочем, и всех остальных мальчишек, доставшихся ему на обучение. Свои внуки у него были в Благовещенске, два сына воевали, один служил на Сахалине, а один, средний Петр, погиб в первый год войны. Самого Ивановича по возрасту военкомат не тревожил, а рабочий опыт и руки нужны были и в тылу. Дядькой Ивановичем его прозвали в шутку. Как-то он вел по цеху стайку новичков, а заточник Васильевич, балагур и затейник, несмотря на военное время любящий расшевелить товарищей метким словцом, брякнул: «Тридцать три богатыря, с ними дядька Черномор». Пацаны на богатырей, конечно, не тянули, ну а к Ивановичу прозвище «Дядька» прилипло. Да и было что-то родственное в его отношении к мальчишкам...

Когда уже стало ясно, что война скоро закончится, вызвали всех малолетних рабочих в кабинет начальника цеха, и тот им выдал:

– Вы свою лепту внесли в общее дело, пора вам братья за ум. Теперь вы будете четыре дня работать, три учиться дальше. Стране нужны высококвалифицированные рабочие и инженеры.

Мальчишки зашумели возмущенно, но их успокоили: фрицев бьют уже за границей, войне осталось чуть-чуть властвовать. Кому же, как не им, сегодняшним мальчишкам, поднимать страну из разрухи.

Лешка с удовольствием стал учиться, хотя иногда на уроках позорно мог задремать – сказывалась усталость. Он видел себя уже взрослым, инженером, вот он идет по цеху, где начинал учиться токарному делу,

подходит к станку, показывает, объясняет какому-нибудь парнишке, как надо закрепить деталь. Себя он видел таким же умным и добрым, как Дядька Иванович, и его, Алёшку, так же уважают и ценят. А дома мама встречает кормильца, наливает борща наваристого в огромную тарелку, кусок мяса виднеется среди капусты, и он, не торопясь, чинно ест, ест, ест...

Лешка помотал головой, отгоняя видения. «Чуть не запорол деталь», – испугался он, проверяя размер. Хорошо, вовремя очнулся. Мысли о будущем были сладостные, притягательные. Мечтать о мирной жизни было приятно и заманчиво. «Скорее бы война закончилась!» – опять поползли мысли, абсолютно не связанные с работой. Но Лешка одернул себя: «Стоп, сам себе говорю! Тебе ответственное дело поручили, а ты тут нюни распустил! Будь внимательным!»

Он остановил станок, собрал изготовленные детали в ящик и понес их мастеру. Присел около стенки каптерки, какое-то время смотрел, как тот проверяет размеры, и, поддавшись монотонному шуму цеха, отключился мгновенно, провалившись в глубокий сон. Тяжело вздохнул контролер, глядя на мальчика, остановил жестом подошедшую женщину, работавшую токарем на револьверном станке: «Не разбуди!» Та тоже затуманилась глазами:

– Вот на плечах таких мальчишек, баб да стариков войну и вынесли! Господи, сколько им досталось!

– Сколько еще достанется! Пока все восстановим! Пол-России в руинах лежит!

Они еще шепотом поговорили, оберегая минутный Лешкин сон и поглядывая в проход между стеллажами, чтобы никто не увидел мальчишку в таком положении. Затем, отвернувшись от него, чтоб не смущать, звякнул старый мастер заготовкой погромче, заговорил в полный голос. Алешка востроился, раскрыл глаза, подскочил, озираясь. Уснул? Или показалось? Спросить? Но, видя серьезные лица старших товарищей, успокоился.

– Все в норме, молодец! Уложился в допуск! – мастер устало улыбнулся Лешке, потрепав его по волосам. – Иди за новым нарядом, только в столовку сбегай, там суп с кашей дают.

Алешка пошел к своему станку. Вслед ему грустно смотрели мастер и женщина.

Внук Вовка

Забравшись на голубятню, наростом приросшую к чердаку, Вовка аккуратно вытащил из-за пазухи голубя.

– Дурашка мой! Не бойся! Сейчас я тебя посажу вот сюда, накормлю, водицы дам! – приговаривал он любовно, расправляя ему перышки. Голубь был красавцем. Сам весь коричневый, вокруг шейки белый ободок, на спинке – белые крапочки. Он косился на Вовку глазом в красном ободке и не знал, что следует ожидать от этого разбойника с прищуренными глазами. Честно говоря, Вовка украл этого голубя. Он давно его заприметил далеко от дома, улиц через шесть, за парком. Там на полянке местный голубятник позволял отдохнуть своей птичьей стае после полета в поднебесье. Вовка мог часами высматривать этого красавца среди остальных птиц. Да только хозяин, мужик вредный и хромой, грозил ему кулаком и прогонял, чем еще больше раззадоривал Вовку. План приобретения голубя Вовка вынашивал долго, ни с кем не оговаривая. Боялся – сдадут его мужику, тот уж отыграется на Вовкиной спине. Вначале Вовка выяснил, куда ходит мужик, кто дома бывает. И вот сегодня, выбрав момент, осуществил он свой коварный план. Задумка была проста и нахальна. Зная, что хозяин с утра ушел на вокзал (что тот там делал, Вовка так и не узнал, но его путь до вокзала прослеживал не раз), он поймал кошку, привязав ее ближе к забору со стороны голубятни. Собака стала рвать цепь и захлебываться лаем. Жена голубятника вышла, посмотрела на собаку, ругнулась на нее и снова зашла в дом. Что кошка привязана и не может убежать, она не заметила. Из-за кошки собака и не услышала, как Вовка забрался на крышу и, скрываясь за тополем, открыл дверцу голубятни. Хоть и подняли птицы переполох, Вовка высмотрел коричневого любимца, хватанул его и кубарем скатился в огород. Собака метнулась в его сторону, но сорванец уже мчался по песчанику, перепрыгивая через какие-то загородки. Выскочив снова, хозяйка лишь увидела Вовкину рубашонку в конце улицы. И все бы прошло удачно, да оступился Вовка в овражке, подходя к дому, покатился вниз, ударившись о корни носом. Нога заныла сразу резко и больно. «Хорошо, хоть голубя не придавил, падая», – радовался Вовка, наливая воду в баночку. Любил он голубей. Его скуластое лицо с маленькими глазками, шкодливо бегающими по сторонам, озарялось какой-то внутренней нежностью при виде птиц. Губы растягивались в улыбочку, выговаривая такие ласковые слова, что всякий бы, услышав, удивился, что десятилетний шпанец может их

знать. Правда, в случае необходимости, Вовкины руки могли и свернуть голову подбитой или забракованной птице. О жестокости жизни Вовка знал не понаслышке. Его десятилетняя жизнь была разделена на два периода. Ленинград, который он помнил не совсем хорошо, но как-то в виде сплошного праздника: что-то сытое, вкусное, веселое. Красивый город, красивая мама, красивые игрушки. И Чита. Мама бывает редко, строгая бабушка, постоянное желание что-то съесть. Даже блокаду он не успел осознать, выехали вовремя, до массовой гибели ленинградцев, до массового голода. Смутно помнил вой сирен, грохот бомбежки, холод бомбоубежищ. Больше по рассказам взрослых сложилась у него картинка самой блокады, как-то детская память стерла у него из воспоминаний страшные картинки, заменив их на другие, спокойные. И живет он здесь, в этом небольшом пыльном городишке, по Вовкиным меркам, уже давно-давно... Только среди голубей Вовка становится самым собой, вообще-то добрым мальчишкой, шумливым в меру, беспокойным и мечтательным. Он и споет им что-нибудь, и расскажет. Они ему в ответ погуляют, поворкуют, красными лапками по плечам походят, а кто-нибудь и на голову заберется, царапая стриженое темечко.

– Володька! Ты где там? – крикнула бабушка из-под навеса. – Слазь давай-ка поскорее!

Иду! – откликнулся тот, спрыгнул с последней перекладины лестницы и предстал перед требовательным взглядом бабушки.

– Ой, паря, ты никак опять рубашонку порвал? Я же тебе ее вечером чинила. На ногу, вона, хромашь? Как это голову ишшо свою не свернул? – приговаривала баба Шура, осматривая внука, проверяя, в целости ли его косточки, нет ли ссадин, синяков, не порвал ли штанишони.

– Иди в дом, супчику похлебай да сходи за огород, травы нарви курицам. Да за девками присмотри, мне до госпиталя добежать надо.

– Ладно, – швыркнул носом Вовка, винтом вывернулся из рук бабы Шуры и исчез в сенцах. Секунду спустя оттуда раздался писк сестренок то ли от радости, то ли Вовка им успел подзатыльник отвесить, понять было трудно. Хоть Вовка их зря и не обижал, но сидеть с ними сильно не любил. Не мальчишечье это дело – нянчиться с мелюзгой, но с бабушкой не поспоришь, она и сама могла отвесить подзатыльник. Надо, значит надо. Он большой, он понимал.

Дочь Нина

В штабе уже открыто говорили про окончание войны. Офицеры не скрывали радости. Четыре года жизни рядом со смертью! Четыре года кровавой мясорубки, пота, крови, голода, разрухи! Четыре года! В Забайкальском военном округе также знали, что рядом, под боком, через границу, расположены японские войска, ждущие удобного момента, чтобы напасть на Советский Союз. И только победоносный перелом в Великой Отечественной войне: Сталинград, Курская дуга – сняли угрозу нападения, угрозу войны на два фронта. Но опасность была еще очень сильной. Военные люди понимали также, что не сразу и не все попадут домой после Победы, еще долгие годы будут служить фронтовики, оставшиеся целыми, выжившие в огне боев.

А сейчас был май, был конец войны, здесь в Чите жизнь текла почти как в мирное время.

Нина числилась писарем при штабе. Ее ручка, деревянная, с металлическим перышком, легко бегала по пожелтевшей бумаге, каллиграфическими буквами заполняя формуляры. Огромная пишущая машинка «Башкирия» стояла рядом на столе, на ней Нина печатала, бойко ударяя по клавишам, в основном важные бумаги. Клавиши были высокие, в виде маленьких цилиндров, на которых буквы были прикрыты стеклышками. К вечеру подушечки пальцев ныли от ударов, даже коротко подстриженные ногти не спасали от боли. Грохот работающей машинки разносился по всему коридору, заглушая четкий стук шагов офицерских сапог.

Нина до войны уже работала на метеостанции, окончив курсы метеорологов во Владивостоке, где и познакомилась с Алексеем, первым мужем. Да не удалось пожить молодой паре семейной нормальной жизнью... Война перемесила все судьбы, внеся свои коррективы.

Самым страшным для Нины был период, когда ее без документов выслали на Урал. Здесь, в маленьком поселке при руднике, жили такие же горемыки, как и она. Ее, маленькую, с ребенком, жалели бабы, помогали, кто чем мог. Жили все по-разному: кого селили в заброшенных домах, кто на подселение к жителям посёлка устраивался, кому выделяли койко-место в общежитиях-бараках. Охраны как таковой не было, охранялся только сам поселок: все-таки они не были заключенными. Такие лагеря располагались и дальше, в тайге, но Нина там не была и не видела, только тихие слухи доходили до них.

Территорию поселка пересекала заброшенная узкоколейка, по которой надо было утром и вечером добираться до конторы на перекличку. Причем ребенка надо было тоже предъявить, мол, вот, жив-здоров гражданин страны, дайте и ему карточку на получение пол-литра молока. Расстояние было небольшое – полтора-два километра, но маленькой Нине они давались очень тяжело. Дело в том, что местами под узкоколейкой были промоины, и железнодорожная плетень висела над оврагом, опасно прогибаясь над пустотой. Нина привязывала Олечку шалью к спине и на четвереньках проползала по шпалам, боясь свалиться вниз. И так дважды в день. А зима на Урале ветреная, с хиусом, с морозами. Как они пережили ту зиму, Нина не любила вспоминать. Как огромное счастье она восприняла тогда получение документов, подтверждающих, что это действительно она, Нина Смирнова, жена кадрового офицера, воюющего в такой-то части на западе. Что она может сейчас же покинуть Урал и ехать к месту жительства в Читу.

Нина закончила писать, вытерла кончик пера и отодвинула непроливашку с чернилами дальше от бумаг. Приближался перерыв, и она во время обеда старалась успеть добежать до дома, отнести матери паек. Закрыв машинописное бюро, она спустилась вниз по скрипучей лестнице штаба, сдала ключи дежурному и выскочила на улицу. День был уже в разгаре, все зеленело вокруг, сама природа радовалась жизни. А встречные люди улыбались не только весне, но и многообещающим вестям с фронта.

– Ниночка! – мужской голос окликнул ее. – Вас довести?

Нина оглянулась. Черноглазый, смуглый парень стоял около машины с открытым верхом, улыбался во весь рот:

– Вмиг довезу!

Нина засмушалась, но согласилась. Этот солдат месяц назад появился при штабе с новым офицером. Нина не знала ни командира (офицеров много было при штабе), ни солдата. Но боевые награды на аккуратной гимнастерке шофера говорили, что их обладатель уже повоевал. Медаль «За отвагу» просто так не дают.

– А командир на гауптвахту не посадит? – засмеялась она, подходя поближе.

– А я у него попросил машину, сказал свататься поеду!

– К кому? – удивилась Нина.

– К твоим родителям! Не прогонишь?

– Прогоню, так как совсем тебя не знаю! – Нина посерьезнела. За время службы балагуров и любителей поухаживать за ней было достаточно, отшивать назойливых она умела.

– Давай знакомиться: рядовой Смирнов Яков, сибиряк, прошел службу от августа сорок первого до сегодняшнего дня, был ранен. Сейчас здесь служу. Холост. Вот хочу на тебе жениться. Очень мне твоя коса в душу запала.

Нина вздрогнула. Фамилия ее мужа прозвучала неожиданно. Она посмотрела прямо в глаза Якова:

– У моего мужа, погибшего на фронте, тоже была фамилия Смирнов...

Солдат согнал улыбку с лица:

– Извини, Нина, я знал, что у тебя муж погиб, а вот про фамилию не спросил... Не бойся, я не обижу. Давай довезу, я знаю, что ты к дочке торопишься.

Солдат казался старше и опытнее Нины, и она почувствовала к нему симпатию. Старенький «виллис» быстро мчал по Хабаровской, поднимая песок с обочины улицы. Вот и домик родительский. Ловко выпрыгнув из машины, Яша помог выйти Нине, проводил ее до калитки:

– А про косу я правду сказал...

Шура

Внучки уснули, разметавшись на кровати. Набегались, наигрались, и, насытившись кашей, устроились валетом на стареньком лоскутном одеяльце. Солнечные зайчики попрыгали по ободранным ножонкам, по загоревшим ручонкам и убежали по стене в окошко.

«Угомонились, мои белочки-попрыгушки! – подумала Александра Александровна, поправляя косички. – Господи, пусть хоть они поживут в сытости и тепле, пусть хоть им достанется мирная жизнь! Выучатся, грамотными станут, в люди выйдут. Скорее бы эта проклятая война кончилась!»

Еще раз окинув комнатку взглядом, Шура вышла во двор. Часть белья уже высохла на майском ветерке, кальсоны болтались завязками и гачами на веревке, резала глаза белизна простынь. Оставалась самая трудная часть работы: замоченные от крови, гноя бинты, халаты, наволочки. Шура поставила в корыто стиральную доску, вытащила из бака горячее запаренное белье, намылила и начала жулькать и шоркать по рифленой поверхности. Руки покраснели от горячей воды, защепаало мелкие ранки и ссадины на пальцах, пена запузырилась воздушной

шапкой. Хорошо, что пришло лето, стирать можно под навесом. А зимой на кухоньке, где повернуться-то трудно, крутиться приходилось! То и гляди, как бы девки таз на себя не опрокинули да в корыте не утонули.

Александра Александровна стирала, а мысли текли одна за другой. Мысли про все: про детей, войну, ожидаемый мир, внуков, мужа... Руки терли бинты, полоскали, развешивали длинными лентами на веревку, снимали высушенное белье – они знали свою неутомимую работу. Шура думала и про себя. Просила Бога дать ей здоровья, чтобы поднять на ноги всю эту ораву, вырастить их, дожждаться, если получится, правнуков. Чтобы Ивану Михеевичу стало полегче, насколько можно. Чтоб брат нашелся живой и здоровый. Чтобы Вовка человеком стал стоящим. Чтобы Алешка выучился на инженера или на мастера. Как уж получится. Хвалит его сосед, говорит, башковитый, металл чувствует. Чтобы Нина в одиночестве не осталась. Чтобы Мария уgomонилась, зажила осёдлой семейной жизнью. Да много ли каких мыслей придет в голову, пока руки заняты?

На улице раздались крики, выстрелы, загудели клаксоны автомобилей.

– Господи, неужели японцы полезли? – закрестилась Шура, бросая недостиранное белье назад в корыто, и кинулась к калитке. Но калитка раскрылась, и Вовка влетел в ограду:

– Ура! Ура! Фрицы сдались! Немцев разгромили! Баба! Баба! Победа! Победа!

Он кружил вокруг Александры Александровны в немыслимом танце, скакал молодым козлом, кувыркался, делал стойку на руках, болтая в воздухе грязными пятками:

– Мы их раздолбали! Мы их раздолбали! Пусть не лезут! Капут войне!

Ноги у Шурочки подкосились, она села прямо здесь же, посередине двора около чурки. Села и заплакала, не веря, что кончилась эта проклятая война, искалечившая столько человеческих судеб, сгубившая миллионы молодых, здоровых людей, которые так хотели жить...

– Баба, ну что ты плачешь? Война же кончилась. Все, кончилась!

Вовка неумело подлез под Шурину руку, вытирая ей слезы. Александра Александровна обняла внука, ткнулась лицом в его пыльную рубашонку:

– Да, да, Володька, неужели она кончилась? Пошли, сообщим дедушке радость!

Она устало поднялась, будто эта долгожданная новость сразу забрала у нее все последние силы, обняла Вовку, и они вдвоем шагнули в темные сенцы дома, где их ждал Иван Михеевич.



Мало что здесь изменено. Моя бабушка, Александра Александровна Малюгина, коренная забайкалка, гуранка, как ее называл мой отец, умерла уже в конце шестидесятых, прожив долгую жизнь, увидевшая и внуков и правнуков. Она была мудрой женщиной, спокойной, пусть и суровой, но справедливой. Жаль, я ее видела всего два раза. Моя мама с отцом уже вместе прошли Монголию, оба были награждены медалью «За победу над Японией». Поженились они уже в мирное время. В сорок девятом они переехали сюда, в Сибирь, где кроме старшей сестры, родились еще дети, и я, самая младшая. Мой дядя выучился, как и мечтал, на инженера и работал начальником инструментального цеха на Читинском паровозоремонтном заводе, где токарил подростком. Помню фотографию, сделанную, скорее всего, уже после войны: маленький пацан, чуть выше станка, что-то точит. Гошка перед армией заезжал к нам в Тайшет, служил на Тихоокеанском флоте, затем уехал к матери в Казахстан, всю жизнь проработал на шахте, где перед перестройкой был главным инженером. Вовка служил на границе, потом работал сварщиком. Мария устроила свою жизнь, уехала на север. Все выучились, все встали на ноги.

Имена, кроме имен Александры Александровны и Ивана Михеевича, изменены. Я очень жалею, что не записывала в свое время рассказы родителей, многое стерлось из памяти. А войну они вообще не любили вспоминать. Папка, когда отмечал день Победы, всегда пел песню «Враги сожгли родную хату». И плакал. И снова ее пел. И снова плакал. Орден Великой Отечественной войны был ему вручен где-то в начале восьмидесятых. А в восемьдесят шестом он умер. Мама пережила его на восемнадцать лет. Свою знаменитую косу она обстригла перед самой смертью...



Галина Елисейкина

Спасённое детство

Рассказ

Словно с трудом протискиваясь к свету, глядят на меня с пожелтевшей от времени фотографии радостные и счастливые лица моего отца и его друзей. На обороте надпись: Иркутск, май 1945 года. Эта фотография – часть моего детства.

Через моё счастливое детство катилось эхо прошедшей войны. Я пишу «счастливое» потому, что закончилась, отгремела страшная война. Её бои отпыхали вдалеке от нашего сибирского городка. Но жуткие отголоски войны доходили и до нас. И не только потому, что в Иркутске выпускали для нужд фронта самолёты, что город увеличился за счёт большого притока эвакуированных... Война приходила к нам похоронками, огромными составами с ранеными и поредевшими прохожими на улицах, среди которых почти не было мужчин.

Что мне известно о тревожном военном времени? Из личного опыта – ничего. Когда началась война, мне был всего один годик. Раннее детство – заря. А на заре ты ходишь на четвереньках и лепечешь с улыбкой полного счастья: «Ма-ма». Но ведь что-то мы, дети войны, всё же знаем из рассказов старших. Война знакома мне лишь кусочками, обрывками, отрезками, рассказанными моими родителями и их друзьями. И по их воспоминаниям можно перенестись – как хорошо, что только воображением, – в прошлое.

Поэт Юрий Корс точно и верно отметил:

Навсегда в столетье наше вмяты
Грубые военные года:
Сорок первый – сорок пятый –
Ходовым размером сапога.

Вот на эти «грубые военные года»: продуктовые карточки, переполненные коммуналки, чадный свет коптилок, житьё впроголодь, болезни, малокровие – и пришлось моё детство.

Война начинается не там, где убивают, а с простой бумажки, а в бумажке – беда. Однажды и нам принесли повестку из военкомата. На лице мамы будто маска застыла, жили лишь одни глаза, в которых билось, кричало отчаяние и недоумение: ведь завод, где работал отец, стоял на особом учёте, и у него была бронь. Мама схватилась за дверной косяк, всхлипнула протяжно, из последнего сдерживая в теле своим уж раскачавшие его рыдания, и вдруг обильные слёзы вытолкнули торчавший комок в горле, и она горько и безутешно зарыдала.

С того дня, когда отец добровольцем ушёл на фронт, в квартире стало тихо и тоскливо. Для мамы началось горькое и хлопотное время: после ночной смены на авиационном заводе надо было отстоять очередь в магазине, чтобы отоварить продуктовые карточки, затем – в подшефный госпиталь, расположенный в женской школе № 43: ухаживать за ранеными, штопать и стирать их бельё. Беспокойство за отца, редко присылавшего весточки с фронта, разъедало маме душу, переходило в тоску, которая выливалась в грустную песню «Васильки». Эта песня заменяла мне колыбельную. От недосыпания, постоянных забот, слёз копилась усталость, очень часто мама засыпала на стуле возле моей кровати.

Тревогу и боль добавляли страшные, бьющие по самому сердцу, и всё наотмашь, наотмашь, оперативные сообщения по радио: «Сегодня после тяжёлых кровопролитных боёв наши войска оставили... Отступили...».

Война уже наложила на город свою суровую печать: притихли улицы, даже детвора, надоедливая салазками, лыжами, снежками да взрывным беспричинным визгом, хохотом, и та как-то вдруг повзрослела. Улицы печально оживали, лишь у репродукторов, когда передавались сводки Совинформбюро. Глазами, полными надежд, смотрели они в чёрные дыры раструбов и слушали новости, крепко сжимая ручонки детей.

Страшными были полупустынные улицы, особенно по вечерам, когда ни один огонёк не освещал дороги, окружённые тёмными окнами домов. Для населения был объявлен лимит электроэнергии. А вот на заводах шёл злой, упорный до изнеможения накал работ. На авиазаводе рабочие сутками не выходили из цехов. Старики и молодые. Мужчины и женщины, мальчишки и девчонки. Многие спали, прикорнув у станка. Так прошёл первый год войны в Иркутске.

Весна 1942 года. Окончена ночная смена. Заснеженное пространство перед литыми, железом уходящие ввысь воротами авиационного завода

заполняется рабочими. Закончилась вахта «Девяносто ночей – в фонд обороны. Как отстояли у станков – не мыслит никто из бригады, в которой работала мама. Спасибо, сводки подсобляли: всё радостнее, твёрже звучал из радио голос диктора, и бескровные улыбки работниц долго не сходили с их лиц: «Отобрали назад... Заняли... Отбили...».

Внешне жизнь шла своим чередом. В нашу квартиру добавили жильцов из числа эвакуированных. Жили трудно, но дружно. Жили, согревая друг друга помощью, участием, сочувствием. На кухне шумели примусы, коптили керосинки, в которые часто доливали воду, потому что керосин выдавали по талонам и очень мало. Приспосабливались ко всему. Нет масла, жира – ничего, картошку можно поджарить, если на горячую сковородку налить воды (это называлось «поджаренная на «ангарине»). Хлебные и продуктовые карточки, по которым рабочий получал 700 граммов, иждивенец – 300 граммов хлеба, – основное, что обеспечивало питание.

Мама часто оставляла вместо себя в очереди за хлебом меня. Длинные, унылые, словно приросшие к двери магазина, как неотъемлемая их архитектурная часть, были эти очереди.

«... И горе выстроилось в очередь, простое, горькое, нагое...», – так метко сказал в своих ранних стихах поэт Евгений Евтушенко. Отоваривались мы в заводском магазине. Прилавков с весами и хлеборезкой, а за ним – не продохнуть от людей. Завороженными глазами, сглатывая сочную слюну, смотрела я, как хлеборезка отсекает от буханки ровные кусочки хлеба, как продавец взвешивает их и отдаёт взамен хлебной карточки. Воздух в магазине был наполнен хлебным запахом. Для меня это был волшебный запах.

А ещё на «ленте» моей памяти – воскресные «походы» на рынок, чтобы обменять связанные мамой кружева на хлеб, крупу, масло, сахар и муку. Из ржаной муки мама варила болтушку, это такой суп, затируху или галушки.

Рынок кружился медленно, без выкриков, смеха. Изредка раздавались неожиданные песенные всплески. Бессловесные мужики продавали свистульки, пепельницы, портсигары, картины с рисованными кошечками или лебедями. В центре круга неизменно продавалась роскошь: хрусталь, фарфор, серебро, шёлк и меха. Оттеснённые к забору кружением роскоши стояли старухи со своим всегдашним товаром: кружева, шапочки, шарфы и прочее. Иногда то там, то здесь раздавались вопли жертв нового вида заработка мошенников – «ловкость рук и никакого мошенства». В результате обмана вместо денег в руке торчат

картонки, вместо куска хлеба – замазка. И такое горе было в глазах обманутых – страшно смотреть. Как можно было обманывать голодных? Этого я не понимаю до сих пор. Горе-то было одно на всех. Но... Во все времена почему-то были люди (а может, нелюди), которые наживались на чужом горе. В конце кружения по рынку мы подходили к молочному ряду, где мама покупала мне варенец с коричневой пенкой, потому что у меня было малокровие, часто кружилась голова.

Профком авиазавода много внимания и средств уделял бытовой стороне жизни заводчан. 785 детей фронтовиков посещали детсады, в их числе вскоре оказалась и я.

Мы все были бледные и худенькие. Нянечки говорили про нас: «Легонькие, как воробышки». Я часто болела, поэтому много времени проводила в постели. Чтобы не скучать, я вытягивала из подушки пёрышки и рассматривала их. Это была моя любимая игра. А о еде мы думали постоянно. Есть мы, дети, кажется, хотели больше взрослых. Наверное, потому, что мы росли. Позавтракаешь и думаешь, скорей бы обед, пообедаешь, скорей бы ужин. Чтобы хлеба казалось больше, крошили его и крошки ссыпали в карман, а потом целый день рассасывали по крошке. Мы не канючили, не вредничали, были рады тому, что нам давали: миску затирухи или болтушки, картофельное или морковное пюре, пареную репу с кусочком хлеба. Мой любимый суп был вермишелевый: несколько тонких лапшинок в молочной кипячёной воде. Помню, как торопливо мы вылавливали вермишелины, как они не поддавались, соскальзывали обратно в тарелку. В нетерпении мы их подхватывали пальцами, выуживали руками. Только бы собрать всё! Даже терпкий морковный чай с сахарином нам очень нравился.

Воспитатели старались отвлечь нас от мыслей о еде: читали нам книжки, рассказывали сказки, устраивали утренники.

Шёл 1943 год, уже наши войска давно наступали. Радио приносило радостные вести. Конечно, ждали конца войны. Это была такая желанная мечта.

И вот этот день настал. 9 мая 1945 года. И хотя «стволов победных сталь» гремела за тысячи вёрст от Иркутска, здесь тоже победоносно играл оркестр, звучали песни, прославляющие победу.

В садике был тихий час, когда прибежали наши мамы. Они почему-то плакали:

– Дети, победа!

Они стали нас всех целовать, включили радио. Мы все слушали, хотя и не понимали слов. Нас поднимали на руках к репродуктору, и вместе с диктором мы кричали: «Победа!»

День выдался тёплый, солнечный. Люди целовались, плакали от радости, пели и танцевали. На площади перед заводом наскоро сколотили трибуну. Появились знамёна, лозунги и плакаты, из окон близстоящих домов были вывешены красные флаги. Обходя людей, проныривая между ними, впереди и рядом шныряли, увивались мальчишки. Мама плакала: «Доченька, запомни этот праздничный день. Это победа. Значит, скоро придёт твой папа».

У меня всю войну не было папы. Я отвыкла от него, я привыкла его ждать. Моя кровать стояла за ширмой. Поэтому я сначала услышала его голос и ничего не могла понять: неужели это папа. Не верилось, что я могу увидеть своего папу. И вот он, большой и сильный, взял меня на руки, прижал к себе и прошептал: «Доченька моя, какая же ты маленькая стала». В его глазах, улыбке, во всех его движениях светилась радость.

...Всё дальше отодвигалась война. Жизнь набирала свой прежний разбег, уходила голодная хворь из глаз людей. Война многое изменила в нашей жизни, много исковеркала человеческих судеб, многих разъединила. Война била по семьям. На то она и война. Как короткая зарница мелькнула радость победы, радость встречи с отцом. Но вскоре эта радость погасла, и снова передо мной грустное лицо мамы: отец ушёл от нас, завербовался на север. С тех пор я никогда его не видела. Но до сих пор, через столько лет, я слышу живой голос отца, слышу его интонации, успокоительный шёпот, вижу его лицо, родные голубые глаза, которые хотелось целовать каждый день. Душа хранит давний свет и тепло родного дома, ласковые руки отца и его ладонь, на которой белели кусочки пилёного сахара.

... Моё военное детство. Чем дальше оно уходит в глубины времени, как ни странно, становится всё ближе, ярче и чаще вспоминается. Это всегда живая память сердца.



Татьяна Попова

Война глазами детей...

Повесть

Всем детям войны посвящается

...Что война – это страшное горе, я знала не только по фильмам и из учебника истории. Моя бабушка Ксения, в честь которой мы дали имя своей дочери, много рассказывала о войне. Передавая мне своё Евангелие 1910 года издания, она показала вырванный двойной лист, перегнутый вчетверо. Этот лист она положила мужу Дмитрию в нагрудный карман, когда он уходил на войну. С ним он и вернулся. Вера укрепляла и спасала людей. Сейчас бабушки Ксении и дедушки Мити уже нет, а Евангелие осталось у моей дочери Ксении, как было завещано.

Мои родители и вся моя седоволосая родня – дети войны. Это живая история. И какой бы разговор ни начинался, он непременно сходил к военному детству. Сибиряки, с искорёженными ревматизмом и тяжёлым трудом руками, оживлённо рассказывали о голодном детстве, когда делились последним; о взаимовыручке в лесосеках и бараках, где жили и работали подростки, отмораживая руки и ноги; о колосках, которые собирали маленькие дети и как болели потом их пятки, до крови исколотые стерней. Рассказывали, как они ждали письма с фронта и складывали их на божницу за иконы. Все силы, телесные и душевные, без остатка отдавали Победе и взрослые, и дети. «Да, тяжёлое было детство..., но, Слава Богу, не бомбили, не жгли», – вздохнёт кто-нибудь из них и посмотрит на тётю Нину.

Тётя Нина, хоть и прожила в Сибири всю свою сознательную жизнь, белорусским говором рассказывала о своём жутком военном детстве.

Её все слушали, не перебивали – не многие восстали из этого ада...

Вот какой она увидела войну...

1. Лицом к Богу

Лампада, зажжённая с вечера в переднем углу горницы, чуть теплится...

Бабка Параня вчера говорила, что праздник сегодня «Всех святых в земле Российской просиявших», а церковный день начинается с вечера...

Скоро встанет отец, молча и широко перекрестится и поправит лампадку. Он такой строгий и суровый, а бабку Параню слушается, хотя и не во все её «сказки» верит, но мать ведь, как послушаться.

Рассвет уже забрезжил в окнах...

Но отец ещё не встаёт, а только ворочается на топчане, который скрипом оповещает – не спится хозяину...

Бабка Параня и зимой и летом спит на печке, которую почему-то называет «матушкой». И сейчас она там по-старушечьи попыхивает беззубым ртом. Ей не на работу, она с нами, с ребятишками, дома управляется.

Пропел петух...

Скоро мама тихонько загремит в кути, готовя управу для скотины, звякнет ручкой подойника, подоит свою Буську и заторопится на ферму, ведь у неё не бывает выходных.

Зато у нас каникулы! Мы с братом отсыпаемся на полатах...

Толик раскинул в стороны руки, прижал меня к стене, но мне тепло под боком у старшего брата. Последние минуты предрассветной неги, как они безмятежны...

Но что это? Изба как будто озябла от холодной росы и задрожала всеми своими окнами. Мгновенно проснулись все!

Приближался какой-то нарастающий гул, сдавливающий перепонки. Перепуганные ребятишки из разных углов избы метнулись к матери. Она, простоволосая, в нижней рубахе, но уже в широкой юбке, растерянно стояла посреди избы. За эту спасительную юбку и ухватились младшие дети.

И вдруг разом, как брызгами, разлетелись все оконные стёкла. Ребятишки громко заревели, прижимаясь к матери, но через пустые рамы ещё громче ревело что-то... там, за окнами. В дверном проёме мелькнул белый силуэт отца и через секунду исчез в тёмных сенцах. Через пустые рамы окна я сначала увидела отца. В исподнем он босыми ногами стоял на крыльце, усыпанном осколками, подняв лицо к небу, что-то считал: «15,... 25». Его сильные руки, казалось, повисли на плечах.

Толик уже был рядом с отцом: «С крестами...». Не понимая, что происходит, он шепотом повторял за отцом: «30,...45». Только потом я посмотрела на небо. Ровными рядами над нашей избой пролетали самолёты «с крестами»... они летели куда-то дальше.

Мы, дети, понимали, что так страшно может прийти только беда. Я не знаю, сколько времени продолжалось оцепенение, овладевшее всем моим существом, пока мне показалось, что гул стал удаляться, а через дребезжание осколков, торчащих из рам, я чётко услышала: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением...»

Бабка Параня на коленях стояла перед иконами, осеняя себя крестом. Её глаза, обращённые к иконам, поразили меня. Они вместили в себя всё сразу: и страх, и боль, и молитву, и скорбь, и надежду. От сквозняка лампадка горела ярко, и её свет отражался в бабкиных глазах, как будто шел из неё самой. Из этой хрупкой и маломощной груди выплеснулась искренняя, исполненная силой веры молитва. Я поняла, что так можно обращаться только к Богу!

Мама со всей кучей ребятишек опустилась на колени позади бабки, и я рядом с ней. «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство», – молилась бабка Параня. Не зная молитв, одной лишь душой я впервые молилась Богу. Позади всех стояли повзрослевший вдруг Толик и отец. Его большие руки были крепко сжаты в кулаки, а взгляд обращён к иконам. Удивительно, но именно вероломство врага развернуло нас лицом к Богу.

Так неотвратимой волной ворвался к нам праздник «Всех святых в земле Российской просиявших». В 1941 году он пришелся на 22 июня...

2. У Бога все живы...

Ещё утром отец ушёл в правление, куда посыльный позвал всех бригадиров, решать, что делать с племенным скотом, с тракторами и заправочной станцией. Наш отец был бригадиром механизаторов. Давно уже время обедать, но его нет, и все тревожатся, поджидая отца с вестями, за стол не садятся.

Мама за ворота ребятишек не пускала, да мы и сами понимали – не до баловства сейчас. Сунув лукошко с зерном младшим, я велела им

покормить куриц. Через дырку от выпавшего сучка в калитке мне хорошо видно всю улицу, в конце которой на бугре наше правление колхоза, на нём издалика виден красный флаг на крыше. Примостившись у подворотни поудобнее, я принялась разглядывать улицу – не идёт ли отец?

...Мимо дома проходили люди. Нет, не наши, не деревенские. Они были какие-то другие... в грязной военной форме, обросшие, в бинтах, но даже не это главное, они были как будто опалённые и потухшие, шли молча небольшими группами.

– Миленькие, родненькие, куда же вы? – услышала я голос бабки Парани. Встав на цыпочки и изогнувшись, я увидела её через свой «бинокль». Она металась от одного солдата к другому, в её длинном холщовом фартуке дымилась отваренная «в мундире» картошка. Баба толкала её в руки бойцам, спешно проходящим через деревню. Они благодарно роняли: «Спасибо, мать», – ели прямо с кожурой и, опустив глаза, шли дальше.

Бабке показалось, что один из них как будто «при звании», у него сбоку был наган. Он что-то негромко, но чётко говорил шагающим рядом. Потом отрывисто и погромче скомандовал:

– Кто из каких частей, подходи... – прохрипел пересохшим горлом, кашлянул и добавил, – ...для прояснения обстановки.

Услышав про «прояснение обстановки» бабка Параня прямиком шагнула к нему, поравнявшись, подобрала шаг, чтобы идти с ним в ногу. Раскрыла свой фартук с дымящейся картошкой:

– Проясни, родимый, проясни, обстановку-то. Пошто, сынок, их самолёты летят мимо нас, и вы бежите мимо нас от фронту. А мы как же?

Человек с наганом хотел, было, ускорить шаг, отвернувшись от бабки, но она засеменила, забегая вперёд, заглядывая снизу ему в глаза, переспросила:

– А мы как же?

– Можно сказать и так, что бежим, мол..., – сказал он тихонько, глянув прямо на бабку, и громко, чтобы слышали все, произнёс:

– Но не от фронту мы бежим, а, наоборот, к нему, – он приостановился.

– У кого есть закурить, братцы?

Один потянул кiset:

– Осталось малость.

Достал аккуратно сложенную газетку, свернул самокрутку:

– Только вот прикурить нечем.

У кого-то нашёлся огонёк, но не сразу загорелась спичка: то ли отсырела, то ли руки била дрожь. Прикурил солдатик..., затянулся..., передал тому, который с наганом. Он также неторопливо затянулся... и передал другому. И пошла самокрутка по рукам.

– Да не уж-то табачищем сыт будешь, берите, робятки, берите..., – опомнилась бабка Параня, раскрывая свой фартук.

– Нет, не от фронту мы бежим. Далеко он сейчас впереди, – заговорил командир снова, уже не столько для бабки, сколько для себя и для бойцов:

– ... и не дезертиры перед тобою, мать, не трусы, а то, что от пограничных доблестных частей после первых боёв осталось. И оружие всё при нас, только без патронов..., – и уже громко, глядя в глаза товарищам, казалось, забыв о бабке, продолжал:

– Каждый из нас по одному, что этот палец торчит, чтобы в носу ковыряться, а все вместе мы – кулак. Нет патронов, зато кулак есть, только кулаком против танков не попрёшь. Понимаешь, мать, людей сохранить надо до переформирования и боевого переоснащения. Мы вернёмся! Мы обязательно вернёмся и раздавим эту гадину, – взмахнув кулаком, он плюнул себе под ноги.

– А мы куда? А мы как же? – спросила бабка Параня, вытряхивая последнюю картошку в пробитую каску, как в котелок. Она тоже хотела получить какой-нибудь приказ, но он не ответил ей.

– Кончай перекур, братцы.

Поднимая пыль, тяжело забухали сапоги. Бабка трижды поклонилась земным поклоном, крестя уходящих бойцов.

– Да хранит вас Господь, родимые! Вертайтесь поскорей! Мы ить что, мы потерпим. Только вам поскорей бы надоть...

Она заторопилась к своей избе, забирая пустой чугунок с завалинки, поправила подворотню, чтобы куры не убрели на улицу.

В тревожном ожидании замерла деревня...

Мне бабка Параня велела глядеть за младшими. На перевёрнутой лодке, за избой, на хозяйственной половине двора я рассадил ребятишек, подняла прут, которым погоняли Буську и, подражая учительнице в школе, стала прохаживаться с прутом вдоль лодки.

– Сегодня на уроке я расскажу вам о том, как образуются облака...

Ребятишки сидели молча, наверное, они побаивались моей «указки». Но услышав про облака, все дружно, как по команде, подняли головы к небу, отчего до смешного стали похожи на воробьёв на заборе. Я

приготовилась продолжать свой урок, но в носу защекотало, пахло дымом и ещё чем-то, я чихнула... и вся важность с меня слетела.

– Нин, а как вон тот дым образуется?

– Наверное, торфяник горит, – сказала я, а сама подумала. – Нет, от торфяника дым серый и низом стелется, а этот черный и столбом, да и недалеко где-то. Неладное что-то, и отца долго нет. Моя тревога, видимо, передалась малышам, они захныкали, сползли с лодки и потопали в избу. Я забралась на высокую лестницу, приставленную к крыше, разглядывая дым. В дыму прорывались языки пламени... Да ведь это в соседней деревне, где моя крёстная живёт, обожгла вдруг меня догадка. Скорей побегу к маме, надо сказать ей...

Но какой-то треск или гул доносился из-за леса..., я медлила, пытаюсь разгадать его.

– Нет, трактор не так шумит, этот с клёкотом...

Вдруг я увидела, как из оврага один за другим словно из-под земли выныривали мотоциклы, их было много... Эта железная лязгающая лента, похожая на огромного змея, стремительно приближалась к нашей деревне.

– Мама!

Я летела вниз, не чуя лестничных перекладин, обдирая в кровь руки и ноги.

– Мама!

Я ворвалась в дом... Мама сидела за столом, уронив голову на руки, всё тело её сотрясалось от рыданий:

– Был бы жив, прибежал...

– Аринушка, милая, не пугай деток. Подбери волосы. На, вот, попей водицы, – приговаривала бабка Параня.

Всё, что случилось потом, ни рассказать, ни написать не хватит моих сил. В памяти остались лишь страшные обрывки детского сознания, в котором чёрный лязгающий змей, выползший из преисподней, поглотил всё моё существо, отняв самое дорогое, безжалостно рассёк мою жизнь на до... и после...

Немцы разбрелись по всей деревне. В каждом дворе крики и плач. У нас хозяйничали трое: двое зашли в избу, где на старом отцовском топчане мертвецки белая сидела мама с детьми. Немцы заглядывали в шкафы, хлопали ящиками комода, что-то искали. Мама сидела безучастно, прижимая к себе самое дорогое – детей.



MJL 2015

Во дворе, сложив всех кур со свёрнутыми головами в мешок, постукивая по автомату пальцами, толстый немец кричал: «Млеко, млеко» и тыкал дуло автомата бабке в лицо. Бабка Параня как-то пристально посмотрела мне в глаза долгим, западающим в самую глубину моей души взглядом. Я поняла, она молилась, молилась душой за каждого из нас. Взяв меня за руку, она пошла к погребу, повторяя: «Млеко, млеко» и показала на меня. Немец шёл за нами. Всегда опустить молоко на ледник или достать мама просила брата. Я вспомнила, что Толик с утра пас Буську на задах. Где он сейчас?

– Нина, детонька, ты как молоко подашь, так не торопись назад, помедли... там, на леднике рыба прикрыта овчиной ...

Немец что-то снова заорал. Я спустилась в холодную утробу погреба, нащупала крынку с молоком, осторожно подала её бабке Паране. Стоя на коленках, она также осторожно приняла её.

– Ещё одну, чтобы ему обе руки занять.

Я послушно спустилась вниз. Бабка понесла молоко немцу, дойдя до проёма, она истошно закричала, выронив крынку:

– Что же вы делаете, ироды, детоубийцы!

Изба была обложена прошлогодней соломой, двое волокли лодку к дверям, а третий поливал солому из канистры. Прикурив сигарету, высокий немец оскалил зубы, показывая на уже горящие избы, что-то прокричал и, бросив сигарету на солому, перчатками указал на погреб и сарай.

Я не видела, как раненой птицей рванулась бабка Параня к пылающей избе, и, как подкошенная... лишившись чувств, она замертво упала. Пылало всё вокруг: и земля, и воздух. Немцы заторопились. Проходя мимо бабки, толстый подцепил сапогом её бездыханное худенькое тело и брезгливо подтолкнул к лодке – само догорит... А про меня забыл...

Я сидела, скорчившись в леднике, кусала коленки и беззвучно скулила, закрывая ладонями уши. Вся земля стонала и содрогалась от криков безумия, которые доносились сверху. Так, скрюченная, я и упала на овчину, потеряв сознание. Сколько времени я пробыла в погребе – не знаю, пока меня не нашёл Толик. Он отчаянно тряс меня за оцепеневшие руки, прижимая к себе, старался согреть. Мой старший брат плакал и повторял:

– Нина! Нина!

Кое-как через обгоревшую и рухнувшую крышу мы выбрались наружу, держась за руки. Какое время суток: день или ночь? Всё было чёрным:

земля и небо, белой казалась только печка-«матушка» на фоне дымящихся головёшек.

– Где мама?

– Там..., – кивнул Толик в сторону печки и добавил:

– Все там...

Ничего не видящими глазами я впиалась в темноту. Милые мои «воробушки» с поднятыми к небу лицами – такими они навсегда застыли передо мной. Наконец, замороженные горем слёзы, рыданием разорвали плотную пелену слуха и зрения. Сквозь собственный рёв, переходящий в вой, я вдруг отчётливо услышала стон и, вздрогнув, посмотрела на брата.

– Бабка Параня..., она мне и сказала про тебя...

С вытянутыми вперёд руками, спотыкаясь, я шла на стон – жива... Бабка Параня жива...

– Она здесь, под лодкой,...

Половина лодки сгорела и дымилась.

– Ничего, детоньки, земля нонче тёплая, тут заночуем.

Прижавшись к ней, мы чувствовали дрожь друг друга и содрогание от беззвучных рыданий бабки Парани. Лёжа на спине, она не могла не только встать, но и пошевелиться:

– Вы поплачьте, родимые, поплачьте... слеза горе вымывает, – я уткнулась лицом в бабкин холщовый фартук, она гладила мои растрепанные волосы и, глядя куда-то ввысь через черноту земли и неба, слабым голосом, но твёрдо сказала.

– Живы они, знайте – живы. И мы живы. У Бога все живы. У Него они теперь дома, в обители Небесной. А мы ещё в пути. Бог даст, встретимся в своё время. Анатолий, а ты папку-то видал?

Брат сглотнул комок в горле, впервые его назвала бабка Параня полным именем, по-мужски, и это означало, что на его хрупкие детские плечики свалились разом и горе, и ответственность.

– Так, когда корову пас, видел. Они с председателем на телеге понеслись к цистернам, я и погнал Буську в ту сторону к оврагу, только... я её потом потерял. Когда дошёл до оврага, то эти... были уже у заправки, а конь и телега стояли рядом. Я побежал за коровой в овраг и больше ничего не видел. Потом мотоциклы поехали в деревню. После них на телеге с канистрами ехали два немца...

– Живы! У Бога все живы! Нет краше чести, «чем жизнь положить за други своя»... – простонала бабка Параня.

Беззвучно содрогалась бабкина грудь, мне казалось, что это содрогается земля, на которой мы лежим. Завтра..., если Бог даст сил, она пойдёт искать сына. Завтра..., а сегодня два уцелевших росточка сыновьих прижимала к груди бабка Параня. «Знать, ещё послужить тут надо, раз не забрал меня Господь», – подумала она про себя.

Глядя ввысь сквозь кромешную тьму из глубины этого земного ада, бабка Параня молила Бога о мёртвых и живых. Этот молитвенный дар удерживал её на самой кромке ада, чтобы не оборваться в его бездну – не сойти с ума... Проваливаясь то ли в сон, то ли в беспамятство, последним пунктиром обрывающегося сознания мы держались за бабкину молитву обожжённой душой, а руками вцепившись в её трепещущее тело...

Она благодарила Бога за нас, что не допустил глазам нашим увидеть...

«А иначе, – думала она, – как им было бы жить с этим дальше...»

3. Истина и Путь...

Нас нашли...

Сначала приближающийся лай собаки привёл нас в чувство. Толик вскочил обрадованному псу навстречу.

– Дружок! – обнял он своего любимца, который уже лизал его руки, норовил облизать и нос. Толик вспомнил...

Они вместе пасли Буську на задах, вместе дошли до оврага, вместе считали мотоциклы, а потом...? Толик побежал в деревню, а Дружок – через овраг. «Догонит», – мелькнула мысль и тут же пропала. Он забыл о собаке. Черный дым, как огромное чудовище, облапил нашу деревню, огненными языками пожирая её, лязгающими железными челюстями перемалывал её содержимое в каждом дворе...

Осознание всего произошедшего, как молния, пронзило его с головы до ног так, что ноги подкосились, и он бы рухнул, обхватив голову руками, но новый испуг сконцентрировал всё его внимание на приближающемся силуэте. Сквозь чад и копоть я перехватила тревожный взгляд брата. Видимо, на радостный лай Дружка в нашу сторону кто-то неторопливо пробирался через дымящиеся завалы. Когда он подошёл настолько, что можно было его разглядеть, мы поняли, что этот высокий худощавый незнакомец не фашист. Нащупав нас взглядом, он хрипло спросил: «Есть кто живой?». Оторопев, мы молчали.

– Кто ты, мил человек? – отозвалась бабка Параня из-под лодки.

– Из Ягодной я, – подходя к нам, ответил он. – Ягодная – это дальняя в нашем районе деревня.

– Чего ж к нам-то, не ко времени в гости?

– Да вот, – развёл он руки, обводя взглядом пепелище, – уже в четвёртой деревне погостевал. Где деревня небольшая, всех в хатах пожгли, а где сушилка или зерновые склады, то сгоняли народ – и там уж...всех разом...

Он замолчал, разглядывая нас, свою первую находку.

– Трофимыч, наставник нашей комсомольской бригады, сказал: «Не может быть, чтобы не осталось ни одного живого свидетеля таким зверствам, будет им ещё суд... Пойдите по деревням, может, кто ещё живой есть».

– А как сам-то уцелел, родимый?

– Нашу бригаду, как самых молодых, послали пни на целике корчевать под покосы, чтобы косилкой, стало быть, быстрее управиться. А как фашист напал, все мужики с дальних станов в деревню к семьям кинулись, а технику-то не бросишь, Трофимыч нас оставил охранять как, стало быть, бессмейных. Потом уже... после всего...его раненого на волокуше на стан приволокли. Что было там, он не рассказывал, а только сурово так сказал: «Идите, всех – и старого, и малого, кто только жив, скликайте на Чистое болото. У каждого, мол, свои счёты с фашистами есть, за всех им отомстить надо».

– Да, горе ослепляет духовные очи, а скорбь ожесточает сердце – великое испытание нам выпало, сынок. Но в ожесточённом сердце нет правды, а только жажда мести, ослеплённый – сам слепец, куда же он поведёт?

«Она ведь беспомощная лежит на пепелище родного дома, а говорит об ослеплённой душе и ожесточённом сердце. Может быть, эта бедная старушка сошла с ума от потрясений», – пожалел он её про себя.

– Нет, сынок, такое горе – непосильная нам ноша без Бога. «Бог есть Истина и Путь». Великое дело с Божьей помощью начинать надо: вам Землю родимую оборонять от супостатов надо, а воздаяние – это дело Божье. Так каждый своё дело должен исполнить: мы – своё, а Господь – своё. Главное, чтобы мы с Ним в согласии, то есть, в мире были.

Никогда раньше не слышал он таких «старушечьих» речей. Да, наверное, и не стал бы слушать, ведь комсомол осуждает религию и даже борется с этим..., он кое-как вспомнил слово, – «мракобесием». Но сейчас юноша почувствовал какую-то непонятную правду в её словах,

эта полуживая старуха назвала Бога – Истина! У неё какая-то своя правда, а у него – своя, комсомольская правда. Значит, у каждого может быть своя правда? А Истина? – это же высшая правда, а она бывает одна-единственная!

– Так почему же он позволил им это сделать? – показал он пальцем в сторону печки-«матушки». – Куда же он смотрел? Почему отвернулся?

– Не Он отвернулся, сынок, а мы отвернулись..., – незнакомец почувствовал, что и это была бабкина правда. – Сам посуди, когда спиной к правде идёшь, то куда путь тебя приведёт? К кривде!

– Это и любой ребёнок знает, – промолвил он.

– Только не каждый знает, где правда, а где кривда. Понимаешь, когда от Бога-то идёшь в другую сторону, то непременно придёшь в преисподнюю, к дьяволу ... Он лжец и отец лжи – это и есть кривда, а Бог – Истина и Путь! – она, закрыв глаза, замолчала.

Ефим мысленно возражал старухе. Совсем недавно его принимали в комсомол, и в райкоме комсомола он бойко рассказывал кодекс молодого строителя коммунизма, а там сказано, что комсомол – светлый путь всей советской молодёжи. «Перегибает бабка», – подумал он и успокоился. Но она, отдохнув, продолжала:

– Поворотиться нам надо на этот Истинный Путь, а тогда уж... Господь не оставит, – обессилев от длинного разговора, она, помолчав, спросила:

– Как звать-то тебя, сынок?

– Ефимом, – кратко ответил он.

– А пошто сказал, что бессемеиный? Как же отец, мать?

– Детдомовский я. Нас троих из училища отправили в колхоз на практику.

– А годов-то тебе сколько?

– Семнадцать, скоро будет...

Бабка Параня, вглядываясь в него, как-то недоверчиво попросила:

– Нагнись-ка, сынок. Подсоби встать.

Он послушно наклонился к ней. Бабка провела рукой по его волосам:

– Родненький, пеплом что ли голову тебе напорошило? – принялась она отряхивать, но, почувствовав под рукой жёсткие седые волосы, заплакала. Она гладила их и плакала, гладила и плакала, приговаривая:

– Господи, милостив буди нам грешным!

Юноша, никогда не знавший материнской ласки, вдруг понял, что он не оставит старуху и её ребятишек. Обхватив одной рукой его шею, а другой, опершись о землю, она с трудом приподнялась. Это стоило ей

неимоверных усилий, но она должна встать... и идти... искать сына... живого или мёртвого.

– Господь тебя нам послал.

– Да нет, Трофимыч, – опять с опаской посмотрел он на бабуку, в уме ли?

– Ну да, через него и послал, дай Бог ему здоровья, сердешному, раненый, говоришь?

Ефим кивнул. «Вот ведь и Трофимыч раненый, но живой... Надо искать...», – подумала она о сыне.

– Давно ли ты не емши, сынок?

– Три дня как...

– Детоньки, угостить бы гостя надо, – теперь мы с Толиком смотрели на бабуку испуганно – в уме ли? Ни избы, ни еды, сами голодные, а она «угостить бы надо...»

– Так чем, бабушка?

– Ты, Анатолий, полезай в погребок, посмотри, что уцелело. А ты, Нина, за печкой в кути подполье найдёшь? Веди туда Ефима, а там уж он сам..., – привычно распорядилась бабука Параня.

Мне страшно было подумать, а не то что ступить на пепелище, ведь где-то здесь, под ногами... Снова заныло, зарыдало моё сердечко, я тихо заскулила.

Бабука Параня всё понимала и, если бы могла встать, то сама бы всё управила, щадя меня.

– А ты гляди на печку, детонька, и иди не дверями, а с той стороны.

Я повела Ефима вокруг дома со двора, точнее вокруг того, что от него осталось. С той стороны до печки, и правда, рукой подать. Я показала Ефиму рукой направление и вернулась к бабуке Паране, стараясь не глядеть на пепелище, под которым...

Ефим принёс в обгорелом и помятом подойнике полузапечённую в золе картошку и сухари. За печной заслонкой бабука Параня собирала их на протвишке. Толик принёс уцелевшую крынку молока. Бабука Параня сняла свой холщовый фартук и постелила его у лодки на землю, высыпала на него сухари и поставила крынку. Ведро с картошкой рядом. Перекрестилась: «Господи, милостив буде нам грешным». Перекрестила еду:

– Ешьте, детоньки, ешьте, что Бог подал. Крепко наедайтесь, силы надо укрепить. Папку пойдём искать.

Мы молча грызли сухари, по очереди запивая их молоком. Ефим набросился на еду, ел не разбирая.

«Наголодался, видать, сердешный», – бабка Параня взяла в руки картошину, да так и застыла с ней...

4. Путь на Голгофу...

– Ефимушка, оглядись, сынок, где какую подпорку мне сподобь, будь добр.

Ефим послушно встал и, обойдя пепелище дома, шагнул в куть, за печку, и быстро вернулся обратно. Ещё в прошлый раз он заметил клюку, ею он выкатывал картошины из золы. Клюку бабка Параня узнала сразу, вернее то, что от неё осталось. Кованую длинную клюку ей покойный муж Дмитрий Маркелыч изготовил для русской печи, саморучно деревянную рукоять обтесал и насадил на остриё клюки. «Царство ему Небесное», – перекрестилась бабка Параня. Теперь рукоять сгорела, вместо неё торчало только остриё. Бабка перевернула клюку остриём вниз, а на загнутый плоский конец тяжело опираясь, встала...

– Вот так-то ладно будет. Ну, детоньки, поклонитесь избе, где вы родились, печке-«матушке», что кормила и обогревала нас, – проглотив рыдание, бабка продолжала. – А пуще всего матери своей родимой Аринушке, сестрицам и братцу, мученическую смерть принявшим, ангелам небесным, – закашляла опять бабка Параня, поклонилась, как будто все они перед ней стояли, и, спохватившись, решительно повернулась лицом к оврагу:

– Ну, с Богом... Поспешать надо... папка ждёт...

... Шли мы долго. До оврага далеко, да и бабке Паране каждый шаг стоил невероятных усилий. От сердечного удара или от переломанных рёбер она постанывала, опираясь на клюку. Мы с ней отстали. Когда Ефим и Толик поднялись на другую сторону оврага, мы с бабкой Параней только спускались в овраг от деревни. Дружок убегал вперёд и, возвращаясь, лаял..., снова бежал вперёд... Он был здесь вчера, он звал нас туда... за цистерну, где, раскинув свои сильные руки, лежал наш отец, глядя прямо в небо.

Толик упал на него:

– Папка, папка, вставай! Посмотри, что они наделали..., – плакал он навзрыд, размазывая по щекам слёзы, и снова падал на отца. Он терпел, глотая перехватывающий горло комок, он грыз кулак ночью, чтобы не плакать, он надеялся всю дорогу, что первым найдёт отца живым... И теперь все затянутые в нём пружины разом выпрямились. Он

ползал на коленях вокруг и причитал, он рассказывал отцу всё, что сделали фашисты с мамкой, младшими сестрёнками и братишкой, с их домом и с их деревней. Всё детское его существо искало защиты от этой чудовищной несправедливости, отнявшей у него всё разом! И вот он, наш защитник, раскинув руки, будто обнимая небо, молчит...

Бабка Параня остановилась... Её материнская скорбь опаленной кошкой скреблась наружу, но, увидев, как убивается Толик, она опустилась рядом с ним на колени, обняла вперёд его, поцеловала в макушку, а потом меня:

– Знает папка, всё знает, детоньки, и скорбит о нас. Вместе они сейчас с Аринушкой, и смерть их не разлучила, очень они любили друг друга и вас. От большой их любви вы и родились. Помните, милые, об этой любви, с ней и живите. Переключив наше внимание на себя, бабка Параня обратилась к Ефиму просительно:

– Похоронить бы надо по-человечески.

Ефим как будто только и ждал её слов, кивнув, он молча направился к большому красному ящику с песком, к которому был приколотен противопожарный щит. Там он взял лопату с красным черешком и ведро. Но вдруг он замешкался за ящиком с песком, наклонившись, поднял лом, который был зажат в руках председателя, грудь которого была прошита автоматной очередью насквозь.

– Анатолий, пойдём, помогать будешь, на двоих копать надо.

Толик послушно кивнул и пошел за ним.

– И ты иди, Нина, собери цветочков для папки, – сказала бабка Параня. Она хотела проститься с сыном...

Ефим сам выбрал место – недалеко от цистерны две тоненькие берёзки то ли от одного корня, то ли от одного семя росли рядом. Немного отступив от них, чтобы не повредить корни, он лопатой наметил контур. Ефим пластами снимал дёрн, а Толик аккуратно складывал его горкой. Я ходила рядом, поглядывая то на них, то на бабушку Параню. Я не разбирала её слов, она тихонько плакала и молилась, тихонько молилась и плакала.

– Василёк мой ясноглазый, негоже матери глаза сыну закрывать, родимый, да так видно Богу угодно, помилуй нас грешных, Господи...

...На обложенный по бокам дерном холмик Ефим принёс из ящика песок, насыпал его сверху. Я положила на него цветы. Бабка Параня оторвала вязку от фартука и из двух веток связала крест.

– Царство Небесное рабам Божиим Василию и Николаю, первыми на защиту деревни нашей стали, первыми и бой приняли. Запомните, дети,

это место, чтобы потом людям всё показать и рассказать. А тебе, сынок, низкий материнский поклон, – склонилась бабка Параня перед уставшим Ефимом. Он смутился, но она продолжала: – Коль Бог послал нам тебя, Ефимушка, послужить во Славу Божию, будь милостив, не оставь детушек, уведи их куда подальше в безопасное место.

– А ты как же? – заплакали в один голос мы с Толиком. Обессиленная горем и хворью, бабка Параня была нашей последней крепостью. В её стареньком, маленьком, ветхом теле жила негибимой верой душа, которой хватало на всех, кто к ней прикасался.

– Я..., как Бог даст, всё приму из его рук с миром, разве Отец Небесный даст детям плохое? Так и вы, всегда уповайте на милость Божию, и Он утрёт ваши слёзы, с Богом вы не сироты.

Так просто и бережно бабка Параня вложила нам в души семя веры, именно здесь, на могиле отца, она отдавала нас в усыновление Отцу Небесному. И мы, видя её искреннюю веру в Бога, верили ей.

5. Не от мира сего

...На Чистом болоте, в самой его сердцевине, окружённой непроходимыми топями, расположился наш небольшой партизанский отряд. Это были раненые солдаты, с покорёженными войной судьбами, мужики из ближних деревень. Обросшие, бородатые, немногословные, они, на первый взгляд, казались угрюмыми – и все на одно лицо и одного возраста. Но мы-то, дети, знали, что это только на первый взгляд. Эти суровые люди стали для нас семьёй, они полюбили нас, а мы полюбили их. Навсегда остались молодыми Ефимушка, с лёгкой бабкиной руки его все так называли за добрый нрав, Гриша, Борис – это парни, с нежным пухом вместо бороды и усов... Они не пришли с задания. С седой, широкой, как лопата, бородой и пышными усами был самым старшим дед Михей. До войны он шорничал в одном из колхозов, и теперь его угол, где он чинил сапоги и шил чирки, был похож на хомутарку. Нам, детям, командир дал строгий приказ: «Для партизана главное что? Сапоги! Потому как только здоровый партизан может крепко бить фрицев. А чтобы кулак у партизана был крепким, надо его накормить, поэтому всю вашу команду я ставлю на самые важные направления. Никита и Толик поступают под командование деда Михея, Нина и Галинка в распоряжение бабки Парани на кухню. Ни в какие другие подразделения носу не совать, каждый несёт службу на своём посту. Дезертирства не потерплю. Ясно, товарищи бойцы?»

«Так точно, ясно!» – громко гаркаем мы и, довольные, идём нести службу под командование своих «генералов».

Были в отряде и две молодые женщины. Крепкая статная Дарья, строгая студентка медучилища, заведовала маленькой зимовьюшкой с красным крестом на куске от белой простыни. Она, бывало, заплетёт нас с Галинкой, обнимет обеих сразу, прижмёт к себе крепко-крепко и засмеётся. И мы смеёмся ей в ответ. Другая Зиночка – полная ей противоположность. Худенькая, с двумя косичками, она была похожа на старательную школьницу. Грустные большие глаза она всегда прятала под опущенные ресницы, за что мужики называли её в шутку «Несмеяной». Нет, мы с Галинкой точно знали, что Зиночка умела улыбаться. Мы видели, как она выскочила из штаба в наушниках вслед за группой, отправляющейся на задание. «Пожалуйста, возвращайтесь!» – негромко сказала она, встретившись взглядом с Ефимушкой, и улыбнулась...

Что стало с ними – не знает никто.

...Однажды командир, собрав нашу команду, объявил: «За проявленные мужество и терпение объявляю вам благодарность и приказываю... – мы насторожились, – отбыть на большую землю... самолётом». Трофимыч присел на колоду, как бы показывая своим видом, что официальная часть окончена. После небольшой паузы, давая нам время опомниться, он продолжал:

– Понимаете, ребятки, нам предстоит в ближайшие дни крупная операция по объединению разрозненных партизанских отрядов. Бои будут тяжёлые. Мы будем сниматься с лагеря. Завтра ночью в соседний отряд прилетит самолёт за раненым лётчиком. Центральным партизанским командованием решено всех детей, то есть юных партизан, отправить на этом самолёте в тыл. Но до самолёта ещё надо добраться. Вечером придёт проводник за вами. Путь сложный, собирайтесь...

По негласному договору в отряде не велись разговоры о том, что произошло с каждым, чтобы не беречь свежие кровоточащие раны друг другу. Только командиру рассказывали обо всём со слезами, со скрежетом зубов. Трофимыч кратко записывал в школьную тетрадку историю своего отряда, как обвинение фашизму... Сейчас первостепенная задача каждого была – выжить, чтобы бороться с бедой, которую каждый носил в себе – одной общей бедой на всех. Между собой каждого нового человека встречали только одним вопросом: «Откуда?» И понимающе кивали головой, без лишних расспросов зная,

что Трофимыч всё, что надо уже спросил, не лезли в душу. Никита и Галинка были «найдёнышами» из разных мест. Никита городской, приехал на каникулы к бабушке, он был постарше Толика. Галинкин отец, офицер-пограничник, отправил их с мамой к родственникам. Но поезд, в котором они ехали, разбомбили... Галинку принесли ребята с задания. Она была младше нас всех. Сейчас Никита и Галинка остались сидеть рядом на колоде:

– А там, на большо-о-ой земле, ты не оставишь меня? – Никита стал для неё старшим братом, с ним ей было спокойно.

– Не оставляю..., не бойся.

...Мы с Толиком побежали к бабке Паране – как же мы полетим без неё? Запыхавшиеся, взволнованные, мы вбежали к ней под навес. С разбегу я обхватила бабку Параню, заплакала... не в силах ничего объяснить.

– Нас на самолёте... на большую землю... приказ... – бормотал Толик.

– Знаю, знаю, детоньки, про эту новость, Трофимыч заходил давече..., сказывал..., – она кашлянула, как будто поперхнулась. Молча благодарила мудрого командира за паузу, что дал ей время перед этим тяжёлым разговором с внуками. Расставаться придётся навек... Он ей так и сказал: «Это шанс спасти ребятшек». Ну, а приказы надо выполнять, потому как у каждого свой долг, и каждый его до конца исполнить должен.

– Как мы одни-и..., без тебя-я..., – ревела я. – Я самолётов боюсь-я...

– Так это фашистских, а то наш... А теперь я вам главное скажу, присядемте. Одному-то человеку и впрямь тяжело и страшно в мире сем жить, потому, детоньки, накрепко запомните, не бывает человек одинок, пока он с Богом. Все отойдут: и отец, и мать, и я грешная, потому как нет ничего вечного в этом мире временном. Только Бог никогда не отойдёт, никогда не оставит ни в этой жизни, ни в вечности, если сам человек от него не отвернётся, потому про таких людей и говорят, мол, «не от мира сего».

– А от какого? – спросил Толик, мало что понимая.

– От Горнего! – спокойно и ровно поворачивала бабка Параня наши мысли от страха предстоящей разлуки на разговор.

– Где он этот мир, в горах что ли? – присела я рядом с ней, размазывая слёзы по щекам.

– Нет, выше самых высоких гор, – говорила она медленно, давая нам время успокоиться и смириться, принять предстоящее испытание как должное.

– Так ведь там небо! – настаивала я, громко всхлипывая.

– Да, потому и зовётся обитель Божия – Царство Небесное. Вот туда-то мы всю свою жизнь и идём.

Что-то не складывалось в моей детской голове – как может идти человек на небо? Но мне было хорошо и спокойно рядом с бабкой Параней, я молча положила голову на её худенькие коленки, а она гладила-гладила меня и по голове, и по плечам, и по спине, и по рукам. И эти её тёплые ласковые руки я потом вспоминала всю жизнь, когда мне было особенно плохо, как будто бабкиными руками утешал сам Господь.

– И папка..., и мама..., и все наши...??? – Толик прижался к Бабке Паране с другого бока, положил ей голову на плечо и вспомнил, когда хоронили отца и председателя, то бабка просила Бога: «Даруй им Царство Небесное».

– Да, родимые, там.

– Так ведь они это..., – Толик запнулся, – сгорели..., а папка в земле?

«Души их во Благих водворятся и память их в род и род...» Тело человеку здесь на земле служит, детоньки, как одежда, а там..., – бабка Параня подняла узловатый палец вверх, – там оно без надобности, оно тут остаётся. Душа-то налегке летит, радуется, что домой к Отцу возвращается. А человек, он ведь только душой и живёт. Сами посудите, детоньки, бездушный-то разве человек? Иной хуже скотины бывает, скотина она тоже ласку понимает.

– Как фашисты! – Толик сжал кулаки. – Они не люди, они хуже диких зверей, звери от голода нападают, чтобы выжить или своих детёнышей накормить, а фашисты..., – он не нашёл никакого объяснения, – потому что они фашисты.

– Вот и выходит, что человечность-то эта от души, душа в ней главная, она человека человеком делает, а без неё – нелюди. Они тело, что ветошь, сжечь могут или убить, а душу? Нет! Кто дал её человеку, Тот и примет в свои Руки на вечное содержание, а нам бы только самим её не потерять да не позабыть, откуда она, чтоб знать, куда возвращаться.

Помолчали каждый о своём, точнее, каждый думал о своей душе. Я думала, разве можно её потерять, ведь она внутри, в сердце, небось, не выпадет. А как же тогда те, которые бездушные, ведь не народились же они без души, значит, всё-таки потеряли.

– Ну вот, теперь и о главном, – нарушила недолгое молчание бабка Параня, – грешна я, детоньки, пред Богом и пред вами, – тяжело вздохнула она. Мы вытаращили на неё свои глаза.

«Наша самая добрая, самая честная, родная бабка Параня грешна? Да что она такое натворила?» – испуганно думали мы, но спросить боялись.

– Всю жизнь я жила заботами и работами мира сего, но никогда не жила богато. Бога в душе носила, а он меня по жизни нёс – вот самое сокровенное моё богатство.

«Так разве бывает такая виноватость?», – заныло переживание у меня под ложечкой. Я жалела бабку Параню, сегодня она не стеснялась слёз. Глядя, как по обеим щекам они бороздят глубокие морщины, я начала гладить её руки и, чтобы не расплакаться самой, щекой упала на них.

– А вина моя, родненькие кровиночки, в том, что это богатство своё я вам не передала, не оставила. Всё думала: не время ещё, подрастут – поумнее будут, успею. А ведь вот как пришлось, что не осталось у нас уже время-то, ...только до утра. И молитвам не научила, и о Кресте Христовом, и о кресте каждого... – ничего не успела, – она платком смахнула слёзы, пригоршней отёрла нос и продолжала: – ...но Бог милостив, детоньки, Он вас не оставит. Если встретите какого доброго человека, который вас оберегать и наставлять на доброе будет, как отца родного почитайте и слушайте, а если какая женщина добрая о вас заботы на себя примет, как мать благодарите. Вас, страдальцев горемычных, там много соберётся, как в большой семье старайтесь жить дружно, по-братски, с терпением. Обидами и злобой сердце не остудите, холодное сердце, как камень, – тяжёлая ноша. Учитесь жалеть и прощать, как родных, ведь каждый хлебнул горюшка немало... И меня грешную простите, – обняла нас и поцеловала.

Сколько мы себя помнили, она всегда молилась: то перед иконой; особо на коленях, когда кто-то заболит; то перед едой; то перед каким делом; то нас в школу благословит крестом и вслед помолится; на ночь всех перекрестит...

Мы не понимали, за что же она просит прощения, в чём она себя обвиняет. Толик считал это несправедливым и хотел оправдать бабку Параню, не зная, как это сделать. Он встал перед ней.

– И ты меня прости, бабка Параня..., – дрогнувшим голосом, но уверенно начал перечислять Толик свои давнишние, уже забытые проступки, – ...что не слушался..., оговаривался с тобой про себя ..., что

корову потерял..., что на велике катался, когда за хлебом посылала..., без спросу с пацанами на озеро купаться ходил, а тебя обманул...

– И меня, и меня прости. И я, и я так..., – обнимала я бабушку Параню, но вспомнить сразу ничего не могла.

– Бог простит, и я прощаю, вот и ладно, милые. Пора. Помогите-ка мне весь наш скудный кухонный скарб собрать, Трофимыч велел всё подготовить к походу стало быть.

Вечером пришёл проводник. В маленьком окошке штаба, долго горела керосинка, и огромные тени мелькали то поочерёдно, то две сразу, наклоняясь над столом с нарисованной картой. Мы не знали, что им пришлось планировать другой маршрут – в окружную, ближе к лесу. Пойдём вброд, там проводнику в некоторых местах, они назывались окна, вода доходила до подмышек, а нам...?

Никита и Галинка всегда спали у деда Михея, и сегодня были там. Мы лежали с бабушкой Параней, с двух сторон обнимая её. Не спалось. На заре выходить.

Бабушка Параня читала молитву «Отче наш», проговаривая каждое слово, не торопясь. Читала несколько раз подряд, надеясь, что детская память цепкая – запомнит. Толик тихонько повторял за бабушкой Параней.

Засыпая, я слышала его голос:

– ... да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим...

6. Да будет воля Твоя

Дед Михей и Никита с вечера приготовили шесть длинных палок. Проводник свою держал в руках.

– А это кому? – строго спросил Трофимыч.

– Так это, мы с Параней проводим... и назать..., – чувствуя вину за самоуправство, лепетал дед Михей.

– А кто вас «назать» приведёт?

– Так енту-то тропу окружную я знаю, хаживал...

– Хаживал, а народ кормить кто будет? – повернулся он к бабушке Паране.

– Не серчай, родимый, с Дарьей с вечера договорилась, молодая – управится. А ему и впрямь помочь надо, не мужиков ить, а детей вести надо.

– Трофимыч, пусть идут, Михей старик крепкий, – вступился проводник, перевёл взгляд на хрупкую бабку Параню, – выйдут...

– Ну, с Богом! – скомандовал Трафимыч.

– Благослови нас, Господи! – перекрестилась бабка Параня.

... Шли медленно след в след. Первым шёл Фёдор, так звали проводника, за ним Галинка. На глубокой трясине Фёдор брал Галинку на руки, а Никита нёс её шест. За Никитой шла бабка Параня, за ней, боясь оторваться, барахталась я, потом Толик. Замыкающим был дед Михей. Устали от изнурительной ходьбы, отдохнуть бы, да негде. Останавливались по команде Фёдора только для того, чтобы глотнуть воды из его фляжки, которую пускали по цепочке из рук в руки. Ноги тут же вязли в зыбком дне. Дед Михей крепко привязал чирки верёвкой к нашим ногам, но чвакающая жижа заглатывала их вместе с ногами.

– Дядя Федя, далеко ещё? – тихонько спросил Никита.

– Только бы вон до того леса добраться, там отдохнём и дальше.

Лес был недалеко, рукой подать, но уставшим ребятишкам каждый шаг давался с большим трудом.

– Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится.

Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю...», – узнаю я бабкину молитву, она и раньше называла её «живым в помощь».

И, правда, помощь – от родного голоса в окоченевшем теле моё сердце сразу согрелось, я слышу его стук и в груди, и в висках. Вдруг Фёдор поднял руку и остановился – все замерли, прислушались... Нет, показалось. Он взял на руки Галинку и ускорил шаг. Больших «окон» не было, мы старались не отставать. Перед самым лесом сплошь натыканы большие лохматые кочки, трава-резучка пышно росла на них, низко свешиваясь по краям. В другое время можно было бы покачаться на них сидя, а на самых больших – даже лёжа, но сейчас мы старательно след в след обходили их. Вот скоро и привал.

...Автоматная очередь прошла тишину и тяжёлым свинцом прожгла Галинку. Она взмахнула ручонками и выпала из пробитой руки Фёдора. Раненый в грудь Никита упал между кочками.

– Ложись! – коротко скомандовал Фёдор.

– Под кочки, под траву заползайте, – прошептала бабка Параня, – Михей, ты куда?

– Я уведу их, – крикнул дед Михей, наугад стреляя из старенького дробовика, кинулся в сторону от нас, отвлекая на себя внимание.

– И я с тобой! Фёдор, сбереги ребятишек, помоги вам, Господь! – перекрестила она нас, точнее те кочки, под которыми мы лежали. Через длинные листья резучки мы видели, как она решительно поднялась, выпрямилась, широко перекрестилась и быстро пошла за дедом Михеем, не оборачиваясь.

– Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое..., – громко молилась бабка Параня. Молитва – вот её оружие против супостатов. Дед Михей с ружьишком, а бабка Параня с молитвой – они собою прикрывали нас. Вдруг она упала, моё сердце оборвалось, я больно закусила губу, чтобы не закричать. Нет, она быстро поднялась и мы услышали:

– Окропиши мя иссопом, и очищуся: омыеши мя, и паче снега убелюся...

Автомат короткими очередями лаял, как бешеный пёс, удаляясь от нас, вслед за нашими спасителями. Они шли к лесу.

– Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от мене...

Вот уже первые деревья... Родненькие, дойдите, миленькие, живите...

Они скрылись из глаз за стволами деревьев, мы не видели, как первым упал дед Михей. Бабка Параня шла дальше и дальше... как птаха лесная уводила хищников от гнезда с птенцами. Автомат захлебнулся и затих...

– Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя..., – прошептали её бездыханные губы.

Мне показалось, что мы пролежали под кочками целую вечность, всё тело онемело от неподвижности и холода.

– Тихонько ползите за мной, не поднимайтесь, – услышали мы шепот Фёдора. Послушно переглянувшись, поползли на животе. Хватаясь изрезанными руками за резучку, подтягивали себя, не замечая ран. Я видела перед собой только сапоги Фёдора, а Толик – мои ноги: одна в обутом чирке, а другой волочился на верёвке – хорошо привязал мне их дед Михей. Время от времени Фёдор поднимал голову и прислушивался, оборачивался к нам и кивал головой подбадривая. Я жила только сиюминутным ощущением, как будто это не я вовсе, и не со мной это всё происходит, а в страшном сне. Вот кончится он, и я проснусь...

– Не отставайте, немного уже, потерпите..., – вернул меня к реальности голос Фёдора.

...Очнулась я уже в чужом зимовье, когда в руки кто-то вложил тёплую кружку с травяным чаем.

– Пей! – это Толик, в сумерках или от темноты в глазах, я не видела его, а только узнала по голосу, ему тяжело было говорить. – У тебя жар.

– А ты?

– Нам всем дали.

– И Никите, и Галинке?

– Нет Никиты и нет Галинки. Галинку убили сразу, а Никита умер от тяжёлого ранения в грудь и потери крови, – это голос Фёдора, он ранен и лежит рядом.

Я не заплакала, а заскулила – слёз не было от упадка сил.

– Не плачь!

– Мне жалко и Галинку, и Никиту, и бабу Параню, и деда Михея – всех жалко... и нас жалко.

– Не плачь! Забыла, как бабу Параня говорила, что душа налегке летит в Царство Небесное, радуется. Ты видела, как она смело шла, они с дедом Михеем герои...

... Не знаю, сколько детей должно было лететь на большую землю, а только летело нас пятеро...



Владимир Рапацевич

Два письма для Катерины

Моему дяде, погибшему за Родину, посвящаю

1

Под утро Николаю снова приснилась родная деревня. Яркое солнце светит сквозь ветви берез, искрится, вспыхивает на мокрой после дождика траве мириадами искр. Покос. Трава легко и упруго срезается лезвием косы и ложится ровными валками у левой ноги. Шаг вперед, взмах, и, прижимая пятку косы, протягиваешь с выдохом. Вжик, и снова взмах. Впереди, чуть слева, спина косца. Рубаха, мокрая от пота, плотно прилипла к спине, под ней с каждым взмахом и поворотом тела играют мышцы. Во всей фигуре угадывается что-то бесконечно знакомое, но слегка забытое и неуловимое. Хочется догнать, посмотреть, кто это. За спиной дыхание других косарей. Обернулся назад – братья. Ванька, за ним в двух шагах Васька, а там и старший Мишка. Ванька почему-то хмурится, торопит:

– Давай, давай, пятки подрежу!

Хочется пить. Мать стоит позади косцов, держит в руках запотевшую крынку. Николай знает, что в крынке прохладное молоко. Хочется припасть к ней и пить, пить не отрываясь белую, чуть вязкую жидкость, пахнущую теплом коровы и чем-то еще родным и знакомым.

– Попей, Коля! – мать протягивает к нему крынку. Николай хочет сделать шаг к матери, но в это время, идущий впереди косарь, оборачивается, и Николай узнаёт отца.

– Не отставай, – говорит отец. – Нам надо сегодня успеть докосить.

– Разве тебя отпустили? – удивляется и одновременно радуется Николай. – Когда же ты вернулся?

– Я ненадолго – помочь тебе покос закончить.

Отец улыбается и ласково, как когда-то в детстве, берет за руку:

– Пошли...

Николай оглянулся. Мать и братья почему-то уже далеко, что-то говорят ему, но слов не разобрать. За спиной у них небо наливается тучей, а впереди солнце светит ярко, и птицы поют всё громче и громче...

Николай вздрогнул и проснулся. Над головою заливалась какая-то птаха. Было уже почти светло, но солнце еще не встало. Хотелось пить. Осторожно поднялся, чтобы не разбудить бойцов, лежащих рядом на постеленных прямо на землю шинелях, нащупал фляжку. Из-за угла дома выглянул услышавший шорох часовой.

– Не спится, товарищ лейтенант? – спросил вполголоса.

– Да, что-то опять дом приснился. Скорее бы уж капитуляцию объявляли. Войне-то уже конец.

– Кого-то, наверное, оставят мирную жизнь в Германии налаживать, недобитых гитлерюгендов разоружать. А мы с 41-го в окопах, на дембель, наверное, первыми пойдем. Эх, как там дома? У нас в Иркутске уже солнце за полдень перевалило.

– Ладно, Лёнька, пойду пройдуся. Тебя уже менять идут, поспать еще успеешь немного.

– Ты только табачком угости, а то у меня почти закончился.

Николай протянул Леониду кисет с вышитыми зеленой шелковой нитью словами: «Дорогому бойцу от подруги». Получил он его два года назад вместе с письмом от незнакомой девушки из Кемеровской области. В письме девушка Галя посылала наказ бойцу Красной Армии «дать прикурить, как следует фашистскому Фрицу» и сообщала свой адрес для переписки. После демобилизации Николай собирался сначала заехать в шахтерский поселок, где жила и трудилась Галина, а уже потом вместе с ней к себе в село.

Николай и Леонид были из соседних колхозов, призывались в один день в самом начале войны и служили в одной роте. Даже в госпитале по ранению лежали вместе летом в 1944 году. Сдружились крепко, хотя внешне не показывали виду. Не мешало дружбе и то, что Николай уже год носил офицерские погоны...

Николай неслышным шагом обошёл расположение взвода, перекинувшись парой слов с часовыми, вернулся к месту расположения на ночлег. До подъёма примерно час. Это если ничего не произойдёт. Стояла предутренняя тишина, нарушаемая только пением ранних птиц.

Несмотря на то, что в семье Коля был младшим, на фронт ушел почти сразу, как началась война. Ивана призвали только в марте 1942 года, а Василия в 1943 году. Михаил трудился на железной дороге и на фронт так и не попал, хотя водил составы вплоть до прифронтовой полосы, и под бомбежками побывать ему приходилось. Бог миловал всех братьев, и хотя ранения, кроме Михаила, никто не избежал, но сильных увечий не случилось. Сам Николай побывал в госпитале дважды. Один раз досталось крепко, и если бы не Лёнька, который хоть и был сам ранен в ногу, но друга не бросил, лежать бы ему в белорусской земле, откуда его предки были родом.

Вновь вспомнился отец. Николай не знал, жив ли он. Отца забрали в апреле 1938 года, как врага народа и, несмотря на все обращения матери, мало что удалось узнать о дальнейшей его судьбе. Пришло известие, что за шпионскую деятельность осуждён на семь лет без права переписки. В прокуратуре матери прямо объяснили, что если будет еще писать куда, то выселят её вместе с младшим Колькой и глухонемой дочкой Пашей в двадцать четыре часа как семью врага народа туда, «где Макар телят не пас».

Знающие люди потом объяснили, что «семь лет без права переписки» означали расстрел, но Колька этому не поверил. Когда отца арестовали, Николаю шёл шестнадцатый год, и он хорошо понимал, что отец никакой не вражеский агент. Но объяснить происходящее сам себе он не мог. Решил, что кто-то темные делишки проворачивал, а на отца свалили при первом удобном случае. Старшие братья после ареста отца вообще чудом уцелели от «ежовых рукавиц» наркома внутренних дел.

Мысли Николая переключились на предстоящий день. Два дня назад бойцы роты, в которую входил и взвод Николая, получили приказ произвести зачистку Нойенхагена, земля Бранденбург (так официально назывался небольшой немецкий городок недалеко от Берлина). Прочесывали дома, подвалы и чердаки уцелевших домов и развалин в поисках спрятавшихся немецких солдат, которые небольшими группами и поодиночке забивались буквально в щели. Заодно разъясняли местному населению о необходимости пройти регистрацию в комендатуре.

В первый день обнаружили и разоружили около двадцати солдат вермахта, в основном ополченцев из «фольксштурма». А на улице Хауптштрассе наткнулись на ожесточенный огонь, который вели из развалин двухэтажного дома несколько, как потом выяснилось, эсэсовцев. Тяжело ранили двоих бойцов из соседнего взвода. Терять фашистам было уже нечего, а сдаваться они не собирались. Пришлось забросать их гранатами, и вскоре всё стихло.

А вчера произошёл случай, выбивший Николая из равновесия. Только что прибывший из пополнения новый командир второго взвода, молоденький лейтенант Володя Христич расстрелял немецкого ефрейтора, пожилого человека, который был уже разоружен и, трясаясь, лепетал, показывая на соседний дом:

– Mein Zuhause. Meine Kinder. Ich kapituliert. Ich wollte nicht schießen...²

Чем-то он не понравился Христичу, и лейтенант с размаху припечатал немца прикладом ППШ прямо в лицо. Немец взвыл и, упав на колени, начал кричать, протягивая окровавленные руки к солдатам. И пока бойцы очумело смотрели на происходящее, Христич выпустил в него очередь. Немец дернулся и затих. Другие пленные попятились к забору, лейтенант с перекошенным ненавистью лицом повернулся в их сторону, но бойцы навалились на своего командира, прижали к стене. Прибежал замполит (кто-то уже доложил):

– Ты что, под трибунал захотел? Под арест его!

Лейтенант вдруг обмяк, губы его затряслись, и он почти беззвучно прохрипел:

– А как они... Мамку мою и сестру... Вот такой же, как он... На глазах у меня снасильничали и убили... – он вдруг зарыдал, никого не стесняясь.

– А ты, значит, чем лучше их? – замполит вытер рукавом пот и одел фуражку. – Уведите его, пусть отойдёт, потом с ним особист разберётся.

От соседнего дома, на который показывал пленный немец, бежала, голося что-то на ходу, женщина в накинутой на плечи безрукавке. Платок упал с ее головы, длинные светлые волосы развевались на бегу. За ней следом бежал подросток, лет четырнадцати, пытаясь ее остановить. Женщина с разбегу упала перед мертвым немцем, не обращая внимания, что колени сбились в кровь, и завывала:

– Willie! Willie! Oh, mein Gott! Warum? Warum hast du nicht hören?³

– Mom. Komm her, bitte!⁴ – подросток тянул мать за руку.

² Мой дом. Мои дети. Я капитулировал. Я не стрелял... (нем.)

³ Вилли! Вилли! О, мой Бог! Почему? Почему ты меня не послушал? (нем.)

Бойцы смущенно переминались. Христича уже увели, и он не видел, чем все закончилось. А Николай с Лёнькой Медведевым подошли как раз в этот момент. Замполит скомандовал бойцам:

– Быстро уведите пленных. А этих... Фрица унесите, помогите похоронить. Хотел ещё что-то сказать, потом махнул рукой и пошёл в сторону комендатуры...

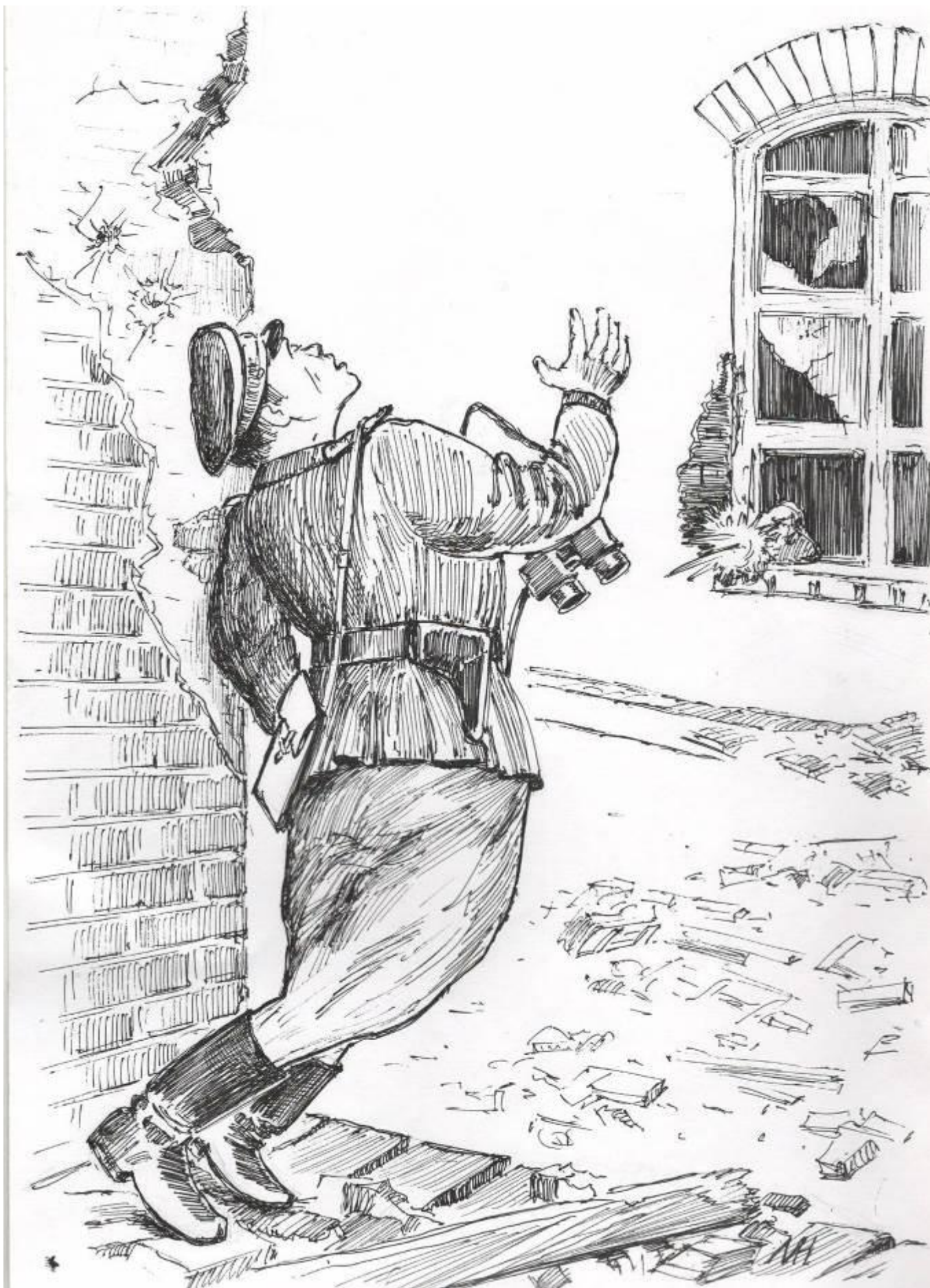
4

Пристроившись возле чурбака, на котором повар Нестеренко приноровился рубить дрова для полевой кухни, Николай вынул из сумки лист бумаги и карандаш, положил на чурку планшет и размашистым почерком начал писать письмо матери:

«Здравствуйте, дорогие родные! Мама и сестра Паша! С горячим солдатским приветом из Германии ваш сын и брат Николай. У меня всё хорошо. Фашистов всех уже разбили. Остались только жалкие остатки, которые прячутся по подвалам и лесам. Но скоро и им придёт конец. Наверное, когда получите мое письмо, война уже закончится. Скоро буду дома. Как у вас дела? Пишет ли Василий? Я от него давно ничего не получал. А от Ивана недавно было письмо. Он где-то в Австрии. Пишет, что у него всё хорошо. От Михаила тоже получил весточку месяц назад. Как там Пашенька? Скоро солдаты вернутся с фронта, выдадим её замуж. Передавайте привет всем соседям и односельчанам. Передаёт вам привет наш земляк Леонид Медведев и весь наш взвод. Подробно обо всём поговорим, когда вернусь домой. Осталось совсем немного. На этом прощаюсь. Ваш Николай. 7.05.45».

Затем аккуратно сложил написанное письмо треугольником, и на чистой его стороне вывел адрес родной сибирской деревни и обратный – номер полевой почты своей воинской части...

⁴ Мама. Пойдем отсюда, пожалуйста! (нем.)



Николай поднялся на кучу битого кирпича и стал рассматривать в бинокль разбитое здание пятиэтажного дома, которое предстояло прочесать. Бойцы из соседнего взвода вчера частично прошли по нему, выловив нескольких фрицев, которые, как только их обнаружили, начали махать белой тряпкой, привязанной к концу палки. Их уже обыскали и хотели сопровождать на территорию фильтрационного пункта на окраине городка, когда случился инцидент с лейтенантом Христичем. На этом прочесывание завершилось и отложилось до утра. А сегодня утром комбат приказал командиру 1-го взвода прошерстить это здание еще раз, а также ратушу и территорию, примыкающую к центральной площади.

В воздухе до сих пор чувствовался запах горелой резины и металла от разбитого автобуса, который взрывом откинуло вплотную к входу в подъезд. Точнее к тому, что от подъезда осталось. Машина сгорела дня два назад, а запах до сих пор не выветрился, и только с легкими порывами теплого ветра немного ослабевал, разбавлялся запахом цветущих акаций. Возле здания всюду валялись разбитые куски плит с торчащими концами арматуры, битый кирпич и сверкающие на солнце осколки стекла – бывшие окна.

– Товарищ лейтенант! Тебя командир роты вызывает.

К Николаю, огибая переломленный у основания фонарный столб, пробирался Леонид.

– Сейчас... Минуту... – Николай поднес к глазам бинокль. Что-то заинтересовало его в отблеске битого стекла прямо у оконного проёма первого этажа. Не просто отблеск, а скорее солнечный зайчик...

И вдруг он все понял, но сделать уже ничего не успел. Одновременно со вспышкой в окне в грудь ударило чем-то острым, и жуткая боль разорвала сознание. Хотелось вдохнуть, вобрать в себя хоть глоток свежего воздуха, а вдохнуть никак не получалось, в глазах потемнело и последнее, что услышал Николай, был чей-то хрип. И через этот хрип прорывался крик, кажется, Лёнькин:

– Лейтена-а-ант! Колька-а-а!

Его словно подкинуло вверх. И стало легко. Так легко, как никогда не бывало. И главное, что боль исчезла. Не затихла, а исчезла вся и сразу.

Николай с удивлением смотрел вокруг и видел себя как бы парящим в воздухе, всего в метре от земли. Под ним лежал навзничь какой-то боец, судя по форме, лейтенант. Рядом валялась фуражка, а вытянутая правая рука сжимала армейский бинокль. На груди слева, вокруг пробитого карманного клапана гимнастёрки, быстро растекалось бурое пятно. И вдруг Николай с ужасом узнал в этом человеке СЕБЯ!

К нему, лежащему на спине, подбежал, пригнувшись, Лёнька и потащил вниз с кучи. Подбежали, пригибаясь, другие бойцы, стреляя на ходу в сторону прозвучавшего выстрела.

Николай отчетливо видел и слышал всё происходившее вокруг. Видел перекошенное плачущее лицо сержанта. Николай пытался сказать ему, что он живой, он рядом! Но голоса не было. Вернее, голос был, но кроме самого Николая его никто не слышал.

Сержант выхватил у одного из бойцов трофейный «фаустпатрон» – трубу со смешной на вид гранатой-набалдашником на конце. Встав на колено, он стал целиться в сторону злополучного оконного проёма. Николай посмотрел в ту сторону и вдруг мгновенно переместился туда, увидел валяющуюся винтовку с оптическим прицелом. В сознании тут же отметилось: оптика цейсовская – классный прицел. В метре от винтовки, согнувшись пополам, корчился мальчишка-подросток. Его рвало. И в нём Николай опознал сына убитого вчера лейтенантом Христичем пленного немца.

В следующее мгновение Николай очутился возле Лёньки, хотел как-то объяснить, что стрелять не надо. Не получилось. Прозвучал выстрел, и граната влетела в оконный проём. Полыхнуло пламя, из окна вывалился клуб чёрного дыма. Солдаты побежали вперед, а сержант сел рядом с телом лейтенанта, вытащил из нагрудного кармана пробитые и залитые кровью документы. Из другого кармана извлёк треугольник неотправленного Николаем письма. Потом поправил гимнастёрку, снова застегнул пуговицы. Когда заворачивал самокрутку, руки, измазанные кровью, тряслись, махорка просыпалась, но Лёнька этого не замечал.

– Как же так, Колька? Что же я твоей мамке скажу?

Николай пробовал снова что-нибудь сказать, потрясти за плечо своего друга, но рука проходила Лёньку насквозь. И ничего не чувствовала. Попробовал потрогать себя, и сквозь себя проходила рука. Мало того, теперешнее его тело было каким-то полупрозрачным, на что сразу и внимания не обратил...

Внезапно он вспомнил всё. От рождения и до самого сегодняшнего дня, жизнь промчалась перед глазами, вернее, в сознании. Все мельчайшие события, давно забытые им, проносились сейчас и были так свежи и яркие, как будто все происходило на экране чудесного кинематографа...

И предутренный сегодняшний сон...

Мама!

7

В далёкой сибирской деревушке наступил вечер. Катерина вернулась со скотного двора усталая и вся какая-то разбитая. Весь день её мучило какое-то странное предчувствие. Она и сама не понимала, хорошее или плохое, но что-то должно было произойти. Дочь поставила на стол чугунок с вареной в мундире картошкой, разломала пополам лепёшку из черной с отрубями муки, перемешанной с истертой лебедой и еще какой-то травой, заготовленной впрок прошлым летом. Скоро пойдёт свежая зелень и будет полегче. Вот-вот закончится война, вернутся братья, и не надо будет так надрываться. Трудно бабам в колхозе, когда мужиков почти нет. А какие есть, так или деды, или пацаны, или калеки, как соседский Афоня, который вернулся с войны без руки и без ноги.

Паша не могла читать газет, так как не знала грамоты, а сообщения информбюро не слышала – была глухонемой с шести лет. Но про войну всё прекрасно понимала. И сама могла рассказать что-нибудь, изображая руками и шёпотом повторяя кое-какие слова, которые запомнила с детства.

Пока не стемнело, сели ужинать. И тут Катерину словно ударило в грудь. Сердце сжалось, перехватило дыхание. И почему-то в голове пульсировала одна мысль: «Что-то с Колей!»

...Николай уже не удивился, когда практически мгновенно оказался дома, возле матери. Та, облокотившись рукой о стол, пыталась расстегнуть ворот старенькой кофты, лицо её было бледно, волосы выбились из-под платка. Испуганная Пашенька пыталась подсунуть ей кружку с водой, но кружка опрокинулась, и вода растеклась по столу. Было жаль страдающую мать, такую постаревшую, родную, и перепуганную Пашеньку. Но и здесь его никто не слышал, как он ни старался обратить на себя внимание. Только во дворе завывала старая, почти слепая Жучка, которую Колька еще мальчишкой принёс за пазухой

домой, отобрав у пацанов на берегу речки, когда те собирались топить щенков.

Вдруг Николай почувствовал, как начинает медленно подниматься вверх, всё выше и выше. Внизу остался родной дом и деревня, с огибающей её речкой, гора с кладбищем и пыхтящий при подъёме паровоз, тянущий за собой десяток вагонов. Всё это удалялось, становилось маленьким, как бы игрушечным, а сверху разливался, наполняя собою всё вокруг удивительный серебристый свет. Свет, не имеющий тени. «ТОТ СВЕТ», – мелькнуло в сознании у Николая. Это выражение он много раз слышал раньше, но ни разу не задумывался над его значением. А Свет продолжал заполнять собой всё, из Него звучал зовущий, любящий Голос...

Через две недели почтальонша Нинка передала через соседку (сама не решилась) два письма для Катерины. Одно – обычный солдатский треугольник, слегка измазанный чем-то бурым, но адрес можно было легко разобрать. А другое – на казенном бланке, с тем же номером полевой почты, что и на Колькином треугольнике...



Александр Соломонов

Отрывки из романа «Золотой Портал»

*Посвящается победителям в Великой Отечественной войне
– военным и тем, кто был в тылу.*

Этот рассказ повествует о настоящих событиях, произошедших в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. Конечно, в нём присутствует доля вымысла... Но случай имел место!

Позавчера.

Шёл 1943 год...

– Витька! Гулять пойдёшь!? – Эльдар кричал снизу, надрывая глотку, на весь трёхэтажный дом сталинской архитектуры: дородный, массивный, из бетонных блоков – единственный такой дом в городе Поворино, что находится в Воронежской области. – Так идёшь или нет!? Где ты там?

И сам себе с обидой на друга: «Хоть бы выглянул и сказал. Чего ждать-то? Да или нет – вот и весь обед! Там лётчики ждут, а тут торчи и жди неизвестно чего...»

Друзья ходили на аэродром и меняли у наших лётчиков рыбу, ягоды, сушёные грибы на конфеты, пряники, шоколад, ХЛЕБ и многое другое. И не только у наших лётчиков – на аэродроме базировались ещё французские пилоты из «Нормандии-Неман», которым, правда, скоро предстояло улетать на запад! Фронт сдвигался к границе Советского Союза...

Вчера.

Прошёл 1960 г...

Город Поворино – это районный центр в Воронежской области с железнодорожным узлом на четыре направления. Рядом с ним протекает река Хопер – не маленькая и не большая, полная разнообразной рыбы.

На окраине города, за Центральным парком, находился аэродром, который принадлежал Борисоглебскому лётному училищу, носившему имя В.П. Чкалова. Училище закончили 262 Героя Советского Союза, и 12 – дважды Героев Советского Союза! Это училище закончил и ваш покорный слуга – автор рассказа.

Мой отец, Соломонов Виктор Александрович, родился и рос в этом городе.

Позавчера.

Шёл 1943 год...

– Витька! Ну, долго тебя ждать!? – безнадёжно кричал Эльдар.

– Сын, иди, а то твой друг совсем извёлся. Охрипнет, с кем гулять-то будешь? Мать его точно запрет на лечение, причём надолго. А я пойду за кукурузой... – отец Витьки (мой дед Соломонов Александр Иванович) собирался на колхозное поле для уборки урожая за натуроплату той же кукурузой. И то хлеб!

Нет, отец не говорил, что жили они совсем уж плохо. Конечно, война многое забрала, но свои огороды и поля с картошкой имелись у всех. У моих предков были в хозяйстве козы, от которых они имели молоко, мясо и шерсть. Шерсть моя бабушка пряла и из ниток вязала носки, рукавицы для фронта, а из мяса делали тушёнку. Это был их вклад в долгожданную победу.

Вчера.

Шёл 1960 год...

Я слушал своего отца (в детстве и юности – Витька) с нескрываемым интересом, открыв рот, не перебивая. А отец с грустинкой в глазах рассказывал:

– Играли мы в разные игры. Я помню, как мы лазили на чердак через люк, как и вы сейчас это делаете... А в наш дом попала бомба, но не взорвалась. Ты табличку видел? – отец, улыбаясь, смотрит на меня.

– Видел, – ответил я.

Мы приехали в отпуск на родину отца в Поворино, где он и рассказал историю о поимке вражеского диверсанта. У меня, помню, даже мурашки по коже бежали от его рассказа. Нет, не от страха, а от того, что я нахожусь непосредственно в том месте, где происходило всё, о чём рассказывал мне папа.

– Так вот... о чём я говорил?

– Что вы с друзьями лазали на крышу дома. И что вы там делали?

– А-а... Под крышей было много места. Ну, ты сам знаешь, ведь у нас такой же дом в Сибири, где мы живём. Темно, только от небольшого окошечка свет проливался, но мы и его закрывали, чтобы ещё темнее было. Брали с собой тыкву. Аккуратно вырезали мякоть и складывали в кастрюлю, чтобы потом сварить и съесть или лепёшки сделать, а саму оболочку не выбрасывали. Мы из неё делали голову страшилища. Вырезали в ней глаза, рот, уши, нос и внутрь ставили свечку. Всё это помещали на чурку, которую заволокли наверх. Чучело страшно выглядело: из всех отверстий шёл красноватый огонь. А мы ещё рассказывали страшные истории. Кто не выдерживал – уходил. Интересно было, – и отец замолчал, то ли что-то вспоминая, то ли просто больше не хотел рассказывать.

Я посидел немного с ним в ожидании... Хотел было уйти, но отец вдруг посмотрел на меня и сказал:

– Подожди. Сашка, а ведь мы с Эльдаром шпиона поймали в сорок третьем.

Как-то глухо он это сказал, но в глазах забегали живые искорки гордости за себя. Мол, вот я какой!

Позавчера.

Шёл 1943 год...

– Чего орёшь?! Я уже иду, – Витька быстро собрал то, что они хотели отнести на аэродром лётчикам и техникам самолётов. В котомках были подарки и обменный товар: сушёные грибы, вяленая рыба, козье мясо в банках (тушёнка), козье молоко, рукавицы, носки из пуха коз.

Витька выбежал на улицу и остановился около Эльдара, задумался.

– Ты чего встал, пошли что ли? – Эльдар сердился на друга за своё ожидание, но не понимал, чего это тот не двигается, а о чём-то думает, уставясь себе под ноги. – Ты чего, Витька?

– Отстань. Думаю: взять или не взять?.. – и замолчал.

– Чего взять-то?.. Пошли, давай. Хватит и того, что есть, – Эльдар от нетерпения уже повернулся и хотел идти, как Витька очнулся и сказал:

– Папка сделал из рогов шесть рюмок. Предложил мне, чтобы я их как подарок отнёс на аэродром, а я отказался. Зря, наверное? А?..

– Потом обменяем. Не всё сразу. Согласен? – ответил Эльдар. Витька был ведущим в их дружбе: задирист, но умен, добр, лишь временами

резок был – терпеть не мог вранья. Резал правду-матку в глаза, не стесняясь, и отстаивал свою точку зрения вплоть до драки! Эльдар был помягче и этим разбавлял крутой характер Витьки.

– Ладно, потом так потом... – Витька первым двинулся в дорогу.

Путь их лежал недалеко (до аэродрома примерно пятнадцать минут хода), а потому они особенно и не спешили, шагая под полуденным летним солнцем, которое припекало и обещало жаркий день.

– Слушай, Витька, я вчера без тебя сюда ходил, так меня один лётчик провёл на аэродром к самолётам и дал посидеть у штурвала, – с восхищением выпалил Эльдар. Но, видно, зря он это сказал. Витька строго посмотрел на товарища и сквозь зубы процедил:

– Так, значит наш уговор, не ходить по одному, теперь силы не имеет? Как же так, Эльд? То ты кричал, чтобы мы были везде вместе, вместе и на аэродром ходили, а что получается? – Витька остановился как вкопанный и презрительно посмотрел на Эльдара. – Ты, паря, договор наш нарушил, тебе и отвечать придётся. Иди один, я не пойду с предателем!

– Да успокойся ты. Не ты ли вчера на картошку уехал? Чё мне-то делать было? Вот я и пошёл. И ничем я тебя не предал. У него знаешь сколько наград?! О-го-го!.. Во! Вся грудь в наградах. Я его спросил, сколько он фашистов сбил? А он мне: «Много, братец. Послали на Героя Советского Союза представление». Я не знал, что это такое, а он пояснил: «Герой Советского Союза получает самую высшую награду Родины – Золотую Звезду Героя и орден Ленина». Во как!

– Ну и что? Почему меня-то не дождался? – бубнил Витька, надув губы от обиды. – Я ведь без тебя не ходил никуда, хотя мне до них идти недалеко. А ты... Эх!.. – Витька с досадой махнул рукой, но в глубине души он всё же был рад знакомству Эльдара. Теперь и он познакомится с этим лётчиком. Здорово! – Ладно, познакомишь меня-то?

– А то как же? – обрадовано ответил Эльдар, поняв, что его друг не держит больше зла за нарушение «закона» между ними.

На аэродром надо было пробираться через парк. Только там он не охранялся, а блиндаж лётчиков был рядом с оградой парка, недалеко. Удобно было: пролез через дыру – и уже в блиндаже, и никто не видел, и никто не засёк!..

Лётчики всегда принимали ребят, когда отдыхали от полётов, с удовольствием. Мальчишки напоминали им о мирной жизни. А рассказы про боевые вылеты кружили головы пацанам.

Друзья вошли в парк и по центральной аллее двигались в сторону, где в ограде была дыра с выходом на аэродром к блиндажу. Уже входя в заросли, растущие перед этой оградой, они неожиданно наткнулись на распластавшегося на земле человека в форме, который фотографировал всё, что находилось на площади аэродрома. Витька и Эльдар, не сговариваясь, пригнулись и спрятались за кустом так, чтобы видеть этого подозрительного человека. Витька, прижав палец к губам, показал Эльдару, чтобы тот молчал. Ребята стали следить за человеком в форме, а тот так был занят своим непростым делом, что совсем потерял страх...

Мальчишкам стало ясно, что что-то здесь не так.

– Эльд, ты следи, а я сбегаю на КПП и расскажу об этом человеке, только старайся быть незамеченным, пожалуйста, осторожно следи. Понял? – Витька очень тихо это сказал на ухо другу, но тот услышал и кивнул в знак согласия головой. Витька отполз от места, где они залегли, встал и бросился бегом на КПП (контрольно-пропускной пункт), чтобы рассказать о странном человеке.

– Ты куда, малец? – остановил его пожилой солдат, охранявший въезд на аэродром.

– Дя...дя...дяденька! Там...там... – говорил запыхавшийся Витька и указывал в сторону парка протянутой рукой, – там... там...

– Да успокойся ты. Говори медленно и чётко, ты же мужик!

– Там военный вас фотографирует, в парке, – чётко выпалил Витька.

Боец всё понял.

– Стой здесь. Не уходи. Я вызову, кого надо. – Он ушёл в сторожевую будку к телефону и через пять минут вернулся. – Ждём. Сейчас прибегут бойцы, а ты отведёшь их и покажешь, где это место. Понял?

– Да, дяденька, – Витька боялся за Эльдара: «Как он там? Что с ним? Не упустил бы...»

К КПП бежала группа солдат во главе с офицером.

– Где? – строго и быстро спросил офицер Витьку.

– В парке. С той стороны, – ответил Витька.

– Не бойся, – заметил офицер, – сейчас мы этого фотографа возьмём. Отфотографировался, сволочь! Веди. Покажешь и останешься за оградой, понял? Туда не ходи...

– Но там мой друг следит за ним.

– Плохо и хорошо. Всё равно сделай так, как я сказал. А с твоим другом мы разберёмся. Будь спокоен. Пошли.

Не прошло и десяти минут, как группа скрылась в парке. И вот уже они идут назад с тем человеком в форме и Эльдаром. Военного ведут под конвоем. Момент захвата, конечно, отец не видел.

Как оказалось, это был диверсант, заброшенный в тыл для выполнения секретного задания: узнать всё про Поворинский и Борисоглебский аэродромы, а также школу лётчиков в Борисоглебске. Вовремя ребяташки оказались на том месте, вовремя!

– За бдительность и правильные действия при обнаружении диверсанта, фашистского лазутчика, вам, Соломонов Виктор Александрович, и вам, Шихров Эльдар Русаевич, от имени командования части выражаю благодарность! И премируем вас пятью килограммами конфет каждому, пятью килограммами печенья, тремя тортами: два – Соломонову, один – тебе, Эльдар. Не обижайся. У Виктора большая семья. И ещё. Вот вам обоим солдатская форма с пилоткой и каской, – так их поздравляли перед строем части.

– Ура! Ура! Ура! – хором подтвердили голоса военнослужащих.

...Сергей Белых, лётчик, к которому в тот день бежали ребята, погиб в неравном воздушном бою с фашистами под Берлином в звании Героя Советского Союза!

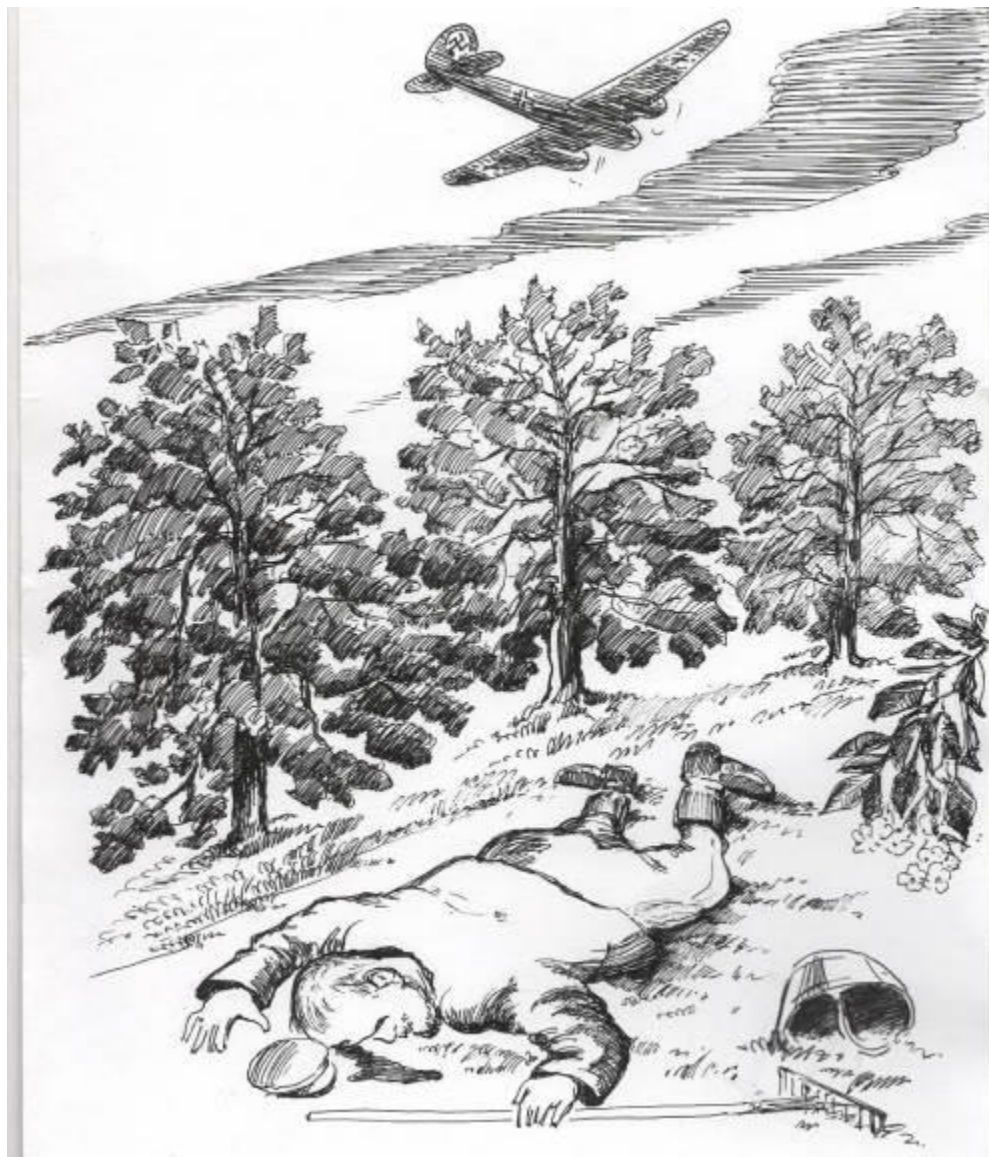
Идёт 2015 год...

Огромное спасибо за защиту нашей Родины! Спасибо за нашу ЖИЗНЬ!

Спасибо тебе, мой отец!



Сергей Стахеев



Частный случай Великой войны

1

Человек изначально верит в свою счастливую звезду и, уверовав один раз, тащит эту веру через всю свою жизнь, надрываясь и мучаясь порою, сколько бы на роду ему ни было написано. Это если верит... А если не верит? Не верит тоже до конца. Правда, своё неверие он несёт легче и менее грустно. И Василий Васильевич Антипов, уроженец

посёлка Мятлево Калужской области, не был исключением. Его тощезадая мадам Фортуна беспрестанно преподносила ему сотню-другую якобы случайностей, которые к сорок первому году выстроились в петлястую и загогулистую закономерность, и он верил ей беспредельно и безрассудно.

– Коля... Валя... Вася... Витя... А в январе родился их с Леной пятый!!! сыночек Толечка. Так и старшей дочери Зине скоро четырнадцать! – радовался Василий.

Лена думала о своём. Она была уверена, что к несчастью, кстати, как и к счастью, нет никакой возможности приготовиться или привыкнуть. Не припасёшь амбара, который при случае можно помести, а в амбаре не изладишь сусека, который при случае можно поскрести. А уж беда какая придёт, тогда и ворота не запирай – навалится всё и разом.

Крутанула жизнь Антиповых на пять счастливых жизней и на...165 несчастных! Эх, крутанула! Они вернулись! Они вернулись из Америки – страны чьих-то сбывшихся фантастических грёз в страну их собственных, которым не суждено было сбыться. После многих попыток подняться, пробиться они вернулись в Россию. Вернулись туда, где родились, возмужали, где встретились и полюбили друг друга.

Василий умел всё, и всё у него всегда получалось да ладилось. Потомственный оброчный крестьянин, он СООРУДИЛ и ОБУСТРОИЛ новый крепкий дом. Именно соорудил, потому что каждое брёвнышко было у места, каждая дощечка прибита с великой любовью и тщанием. И именно обустроил, потому что все надворные постройки были так же крепки, как дом. Потом посадил дивный Сад, а Елена развела славный Огород. А уж какие дети у Василия с Еленой получались – светлоликие да чистоглазые – залюбуешься!

Яблони в саду, которые он посадил своими руками семь лет назад, обрезанные и ухоженные, белели стволами. Он любил любую садово-огородную, даже самую мелкую, работу!

Политикой Василий не интересовался, но сердцем чуял – войны не миновать. Она, ВОЙНА, стояла за воротами с тысячью жал наперевес, готовая убивать его соотечественников и уничтожать сёла и города, в которых они жили. Слова договора с немцами казались Василию насквозь лживыми, а их победное шествие по странам Европы делало их намерения слишком очевидными. Не знал Василий, что в Германии в берлинском университете профессор-аграрий Конрад Майер уже посадил, дождался всходов и теперь лелеет план «Ост», по которому ему Василию и его детям нет места на родной земле. Антипов родился в

марте «девятисотого», умел думать и сопоставлять, а главное понимал: от лишней грядки, посаженной и ухоженной, ни одна соседка не откажется.

Василий вошел в дом, тихо-тихо прокрался в детскую. Их Толечка – Толяночка пускал розовые пузыри и улыбался во сне. Василий невольно залюбовался губошлёпым курносым мальчишкой.

Толяночка был его шестой победой.

2

Человек, где бы ни родился и какой национальности не был, верит в свою счастливую звезду и, уверовав, пронесит через всю жизнь эту веру хоть в России, хоть в Германии.

Боррис Карл – уроженец местечка Хайнсдорф не был исключением. Сегодня его отозвали из центра, где испытывали новенькие «Мессеры-190», вручили карту и приказ, из которого следовало, что он лейтенант Люфтваффе должен выполнить задание особой важности. «Глупо сейчас размышлять! Надо – не надо, смогу – не смогу! Мир и Германия несутся по не зависящей от людей и его – Борриса – кривой, всё подчинено одной мысли и одной воле. Пока судьба, как его Марта, улыбается ему, надо идти за ней! И он, Боррис, пойдёт до конца, чего бы то ни стоило и каков бы этот конец ни был. Хайль, Гитлер!». А с Мартой они в Аммерсбеке учились в одной школе.

Всё у Борриса складывалось... Мяч – Der Ball – sieht – видел в нём Боррисе – den guten Spieler – превосходного игрока. Уроженец Австрии, он знал не только немецкие самолёты, с любым из которых он управлялся легко, даже виртуозно, будь то «Юнкерс», «Мессер» или старичок «Хейнкель». Машины он знал, свой Ю-88 серии А-4, как свои пять пальцев, а вот людей знал хуже. Практически не знал совсем. Политика его не интересовала, но задачу, которую ему поставило командование, было ПОЛИТИКОЙ с большой буквы. Его пикирующий бомбардировщик должен был доставить полторы тонны смерти в самое сердце грозного противника: «Хайль, Гитлер!»

Как и кому в голову пришёл этот изуверский план – подвергнуть жесточайшей бомбардировке столицу СССР, город Москву. Как и кому могло прийти в голову нанести бомбовый удар по центру Столицы, по Красной площади, а если повезёт, разнести по камешкам и сам Кремль. Для осуществления этой чудовищной акции было всё готово! В моравском пригороде Бланско свили уютное гнёздышко две сотни

бомбардировщиков Ю-88, готовых без дозаправки долететь до... Москвы. По расчётам самого Геринга в 7.00 по их же московскому времени центр Москвы превратится в симпатичные руины: «Хайль, Гитлер!»

Но ему было двадцать пять, и он видел победное настроение нации, наблюдал победоносное шествие их армии по Европе. Лётчик самозабвенно любил Германию, обожал самолёты и немножко Генриха Гейне, но больше всего на свете он любил весной возиться в саду с яблонями. Потомственный бауер, он любил обрезать сухие сучья, замазывать чёрной тягучей смолой сочащиеся спилы, собирать сухие ветки в небольшие кучи и поджигать их. Горьковатый дым щекотал ноздри...

Бóррис воевал третий месяц и уже знал вкус войны: она пахла кровью и сгоревшей обшивкой чужого самолёта. «Хайль, Гитлер!»

А еще в его голове сидела заноза. Он толком не понял полученного приказа... Подробным образом был расшифрован маршрут его полёта, до последнего патрона продумано вооружение, но ни одного слова в приказе не было сказано о том, как и когда он должен вернуться назад, на аэродром дозаправки, а после вернуться в Моравию – зна аэродром приписки. Да чёрт с ним! Хайль...

«Пора бы и остановиться!» – думал Бóррис, заходя в хвост британскому «Спитфайру». В перекрестье мелькали круглые клёпки самолёта. Лётчик нажал на гашетку, и небо перевернулось в глазах англичанина. Хайль!

Это была шестая победа Бóрриса.

3

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Более трёх тысяч самолётов нанесли такой силы удар, от которого ни одна страна не смогла бы оправиться. Этот удар пришёлся по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим большим и малым городам на глубину до двухсот – трёхсот километров от государственной границы.

Бóррис пролетел уже больше тысячи километров. На борту у него в цилиндрических кожухах две авиабомбы ухмылялись во весь свой полуметровый диаметр и двухметровую длину. Уже два раза борт-

стрелок и стрелок-радист отсекали от самолёта Бóрриса пару стареньких «пешек», два раза они напоролись на редкий, но прицельный огонь зениток. Второй стрелок пока тщетно пытался взвести особым тросиком обе бомботуши, начинённые смертью.

А Антипов Василий из своего сада видел красные огоньки самолёта, слышал его тяжкий гул и думал: «С запада летит, полнёхонек... Значит, сегодня утром кому-то мало не покажется!»

Пролетали над каким-то небольшим городком. Внизу пятью огнями светилась деревенька. «К Москве подлетаем с запада, – подумал Бóррис. – Значит, это Кондрово!» Он тщательно изучил маршрут и неплохо ориентировался.

И в это время самолёт трянуло. Несильно так. Он толчок едва почувствовал и немного отстал, однако другие группы, прикрываясь плотным огнем бортового оружия, продолжали полет к городу. В ожидаемую зону огня зениток они входили небольшими группами с разных направлений, эшелонировано по высотам.

При заградительном огне стреляют, создавая сплошную завесу на пути движения бомбардировщиков в ту часть пространства, где ожидают появление самолетов противника. Такой огонь не может быть прицельным – снарядов расходуется много, а толку от этого – ноль! Но расчет делается на то, что далеко не каждый экипаж немецкого бомбардировщика решится следовать по боевому курсу, если он видит на своем пути зону сплошного огня из разрывов снарядов. Воздействие на экипажи вражеских самолетов было ошеломляюще. Оно подавляло их морально и заставляло многих уходить с боевого курса.

Многих, но не Бóрриса... Он понимал, что его сбили, видел, что не работают оба двигателя и что перво-наперво ему следует освободиться от бомб. Через десять секунд они полетели к земле. В это же время самолёт Бóрриса швырнуло влево – прямое попадание в бензобак. Он резко клюнул носом и как-то боком повалился вниз. А еще через десять секунд взрыв потряс окрестности Мятлева, Кондрова, Фурманова, Юхнова, Малоярославца и еще десятков и сотен городов.

Первая бомба упала недалеко от мятлевской кузницы и не разорвалась: второй пилот так и не смог её взвести. Зато вторая рванула в саду Антиповых так, что «антоновку»-трехлетку закинуло далеко в поле, туда, где догорал «Юнкерс». А рядом лежала и кровоточила кисть левой руки, сжимающая тоненькую веточку отцветшей яблони. Эту кисть да еще несколько человеческих обрывков-

обломков и похоронили Антиповы, потому что больше не смогли найти ничего.

В России и Германии уже завязывались яблони.

Антипов Василий Васильевич – русский крестьянин и немецкий лётчик Бóррис Карл погибли 22 июня 1941 года, в один день и час!

Василий – отец моей матери.

Стихотворения



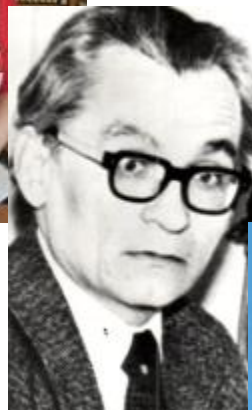
Надежда Дегтярёва

Нина Ильичёва

Татьяна Литвинова

Александр Петров

Сергей Стахеев



Надежда Дегтярёва

Солдатский сон

Рассвет тихонько разгорался
Над притаившейся рекой.
Седой старик во сне метался,
Кричал и взмахивал рукой.
Во сне он был двадцатилетним
И снова вел в атаку взвод,
А смерть касаньем незаметным
Солдатский остужала пот.
Молитвой матери хранимый,
Остался он в войне живой,
Лишь сердце болью нестерпимой
Сжималось в снах его порой.
Он на село один вернулся
Из тех, кто пережил тот ад,
И к небу бабий плач взметнулся,
Когда домой пришел солдат.
Он не любил воспоминанья
Давно прошедших страшных дней,
Но в День Победы с ожиданьем,
Погибших вспоминал друзей.
Они ушли все безвозвратно,
Умом он это понимал,
Но каждый раз безрезультатно
Он все равно их ждал и ждал...

И жизнь его в мельканье буден,
Была мужицкой, рядовой.
Она, подаренная людям,
Вернула все года с лихвой.
Свой век тихонько доживая,
Ценил солдат прошедший день,
А ночью, сердце сном терзая,
Его войны касалась тень.
И, как когда-то, в сорок пятом,
Он вновь поднялся на врага.
Старик во сне кричал: «В атаку!»
И пал, сраженный, навсегда...
Рассвет тихонько разгорался
Над притаившейся рекой.
Солдат во сне уж не метался –
Душа его нашла покой...

Нина Ильичёва

* * *

Звезда потухшая упала
И затерялась вдали.
В испуге женщина шептала:
«Седой старик лежит в пыли».

Лежал в пыли кусочек хлеба,
В руке зажатый, как в бреду.
Безмолвный взгляд упёрся в небо,
Искал потухшую звезду

Он нёс кусочек, как святыню
Для внука, видимо, берёг.
Война ушла, но и поныне
Людей валила вдоль дорог.

Присев на корточки, внучонок
Умом ещё не мог понять
И изо всех своих силёнок
Пытался деда приподнять.

Он теребил его руками
Средь окружившей их толпы,
Кричал дрожащими губами:
«Вставай, дедуля, что же ты?»

Не откликаясь, глядя в небо,
Дед головы не мог поднять
И всё сжимал кусочек хлеба,
Как бы боялся потерять.

А день горел закатом красным,
Был воздух нем от тишины.
Угрюмая, как день ненастный,
Бродила рядом тень войны.

Проходят ветераны

Постой же! Не спеши. Не торопись!
Увидел ветерана – поклонись!
Он твою жизнь держал в своих руках,
Страну прославил подвигом в веках!

Путь до Берлина труден был, далёк.
На пулемёт он грудью своей лёг,
В реке тонул и снова выплывал,
С последним вздохом землю целовал.

Когда штыком нацеливался враг,
Святую землю он сжимал в кулак.
За Родину, а значит за тебя,
Он умирал, ещё недолюбя.

Встал обелиском гордым на века,
Но не пустил проклятого врага!
Постой же. Не спеши. Не торопись.
Проходят ветераны... Поклонись!

Любимой учительнице В. М. Красильниковой

Страна, уставшая, стонала,
Вся в ранах вдоль и поперёк,
И всё же щедро выдавала
Бесплатный школьникам паёк.

Кусочки сахара хранили
Мы для братишек и сестёр.
А как учительку любили!
Её я помню до сих пор.

Все шестьдесят кусочков наших
(Два дня не ели, берегли!)
Мы завернули в промокашки,
Ей в день рожденья поднесли.

Седая уж, она смутилась,
Мелок дрожал в её руке.
Слеза предательски скатилась
В тетрадки наши по щеке.

А мы, притихшие, сидели,
И не узнать 6 «Б» класс,
И молча на неё смотрели
Все тридцать пар влюблённых глаз.

Её любовь в нас не угасла,
Я до сих пор её храню,
Свою ж, по капельке, на счастье
Другим детишкам отдаю.

Татьяна Литвинова

* * *

Снова май победный над Россией.
Как невесты, яблони в цвету.
Бывшие девчонки уж седые.
Много долгих лет на их счету.

В белых бальных платьях в том июне
Их застала грозная война.
В светлую безоблачную юность
Страшным взрывом врезалась она.

Тихо под пилотки спрятав челки,
Собиралась юность на войну,
В эшелонах ехали девчонки
Защищать великую страну.

Им, душою юным, как и прежде,
До сих пор не верится самим,
Что хватило мужества с надеждой
На планете победить фашизм.

Летчицы, разведчицы, медсестры,
Сколько было их на всех фронтах?
С гордостью весной победоносной
Ставили автограф на Рейхстаг.

День весенний радостен и звонок,
И звучат салюты над страной.
Подвиги и слава тех девчонок
Вечно будут в памяти людской.

Цена Победы

*Посвящается моему деду,
Чубарову Петру Ивановичу и его семье*

Раскинул май голубые крылья.
В садах кудрявых поёт сирень.
Под Петербургом к большой могиле
Бежит по тропке весенний день

Прозрачный воздух, поля без края,
Глухим покоем простор объят.
Склонилась низко трава густая,
Постелью мягкой прикрыв ребят.

Блестят росинки, как вдовьи слёзы,
В тиши их слышится перезвон.
А в карауле стоят берёзы,
Оберегая солдатский сон.

Десятки лет по плите бетонной
Скользит лучами седой рассвет.
Здесь с 43-го с батальоном
Под серым камнем лежит мой дед.

Быть может, помнят его доныне
Те перелески среди болот.
И август вкусом сухой полыни
Нещадно дул, забивая рот.

Под той сосной, что с берёзкой рядом,
Делился чаркой он фронтовой.
И в этом поле под вой снарядов
Бежал в атаку в последний бой.

Теперь подумают – это небыль,
Но в те далёкие времена
Земля кипела с кровавым небом.
Всё выжигала вокруг война.

Сквозь едкий дым и куски металла,
Под скрежет танков и шквал огня
Холодным взглядом их смерть встречала,
Свинцовой очередью звеня.

И в час затишья в сырой землянке
Дед кратко письма писал домой.
«Воюю справно, мол, всё в порядке.
И, слава богу, пока живой».

А где-то там, на краю России,
В селе сибирском среди тайги
Колосья в поле шумят густые,
И молодая жена с детьми.

И мчались мысли в края родные
К крутому берегу Бирюсы,
Где зори плещутся золотые
И по утрам голоса скворцы.

Под ярким солнцем моря ромашек.
«Журавль» у дома скрипит бадьёй.
И пять любимых смешных мордашек
Визжат на печке наперебой.

И ныло сердце от жуткой боли,
Что в эти страшные времена,
Как и родителей, поневоле,
И их огнём обожгла война.

Народ поднялся в борьбе жестокой
С грозой, нависшею над страной.
И, повзрослевшие раньше срока,
Они в единый шагнули строй.

Осталось детство за той чертою,
Где провожали на фронт отца.
Он на прощанье махал рукою,
А мама плакала у крыльца.

И, на плетёном висся заборе,
Смотрели, как уходил обоз.
И тяжкой ношей людское горе
На плечи детские взобралось.

Но не прогнулись ребячьи спины
Под непосильной лихой бедой.
Забот громаду и дел рутину
Они делили между собой.

Пололи в поле, луга косили,
Носили почту и скот пасли.
И маме крепкой опорой были,
От неприятностей берегли.

Терпя лишения и невзгоды,
Не хныча и не жалея рук,
И жарким летом, и в непогоду
Победе свой отдавали труд.

И письма с фронта порой читая,
Рыдали души от скромных слов.
Росли и, сами того не зная,
Достойны были своих отцов...

У обелиска прохладный вечер
Ковром цветочным к подножью лёг.
Горят лампы и плачут свечи
О тех, кто землю свою сберёг.

Солдат Победы

В день Победы проснулся солдат,
Глянул в зеркало на седину.
На мундире колодки наград.
С болью в сердце он вспомнил войну.

41-ый пылающий год.
Репродуктор беду прокричал.
Добровольцем безусым на фронт
После школы мальчишкой попал.

Сталинград и бои под Москвой.
Танки мчались, металлом звеня.
Снег багровый кипел под ногой.
От страданий стонала земля.

Много горя пришлось пережить.
Кровь и слезы, бомбежки, санбат.
Разве ж можно такое забыть?
Через время снаряды летят.

Словно слышит друзей голоса,
Что погибли у Волги-реки.
И скупая мужская слеза
На награды сползла со щеки.

Александр Петров

Тайшет, 1945-й

Шли, торопились эшелоны
На Дальний в заревах Восток.
И открывал им путь зелёный,
Наш растревоженный, бессонный
Тайшет – сибирский городок.
В рубцах и боевых наградах
И опалённые войной,
Солдаты лету были рады,
Но предстоял последний бой.
Сползла вторая мировая
В закат маньчжурской стороны,
Там окопались самураи –
Последний бастион войны.
От Кенигсберга в Забайкалье
Шли эшелоны на восход,
Гремя победно жаркой сталью,
И плечи распрямлял народ.
Немецкие аккордеоны
Настроены на русский лад.
Плясали, пели все в погонах –
Победу праздновал солдат.
И на расцвеченных перронах
Стояли тихо пацаны.
Смотрели жадно в глубь вагонов,
И ждали, ждали напряжённо
Сироты мировой войны.
В вагонах – двери нараспашку,
Трофейный на виду уют.
Российские солдаты наши
Суют мальчонкам хлеб и кашу.
И свой «НЗ» им отдают.
Но деловито, не по-детски,

В который раз фронтовиков
Смутил вопрос, такой простецкий:
– Не знаешь, где погиб отец мой,
Иван Сергеевич Смирнов?
– А мой на Курском направлении...
– А мой в Берлине в аккурат
На День Победы. Мы в сомнении,
Ведь знаешь, всякое бывает.
– Бывает, хлопец, всё бывает,
Война, а что ещё сказать?
И что-то к горлу подступает.
Да так, что вымолвить нельзя.
– Ты, дядя, сильно не печалься.
В тылу порядок здесь у нас.
Мы у станков вовсю стараемся,
Ведь мы в тылу – рабочий класс!
И у вагонного перрона
Затих медалей перезвук.
Солдаты слушают смущённо:
– Да как же это, братцы, так?
Рабочий класс? Такие шкеты?
Вы от горшка на два вершка,
Шкилеты, истинно ,шкилеты...
И у бойцов в глазах тоска.
К востоку мчались эшелоны
В последний бой
За жизнь, за свет.
Качались скорые вагоны,
И поезда рвались в рассвет.
И вспоминались те, босые,
С надеждой радостной в глазах,
Мальчишки наши тыловые,
Твоё, грядущее, Россия,
Твоё спасение в боях.

Сергей Стахеев

Генералу Великой Войны...

Генералу Д. М. Карбышеву

Не поверите...Только узнала
И не знать, как все бы могла...
Это было только начало,
Но живая душа генерала
Души русских солдат зажгла.

Генерал засыпал на минутку
Ему снились и дом, и мать...
Что от Бреста до Сталинграда

А еще, что война – не на шутку,
Что всё будет долго и жутко,
Что научимся мы воевать.
Человеческих груды костей...
Что бойцу в окопе отрада,
И что лучшая миру награда,
Гнать, и аж до Берлина ...гостей!

Немец был сигаретами занят –
Человечий корчился вал...
...Генерал учился в Казани,
Ах, какой был жадный до знаний,
И в гражданскую воевал.

Был в работе – боец и задира,
В жарком споре не уступал...
Он умел сберечь честь мундира
Верил свято в слова командира
Глупо...Взрыв! – И он в плен попал!

Так бывает в пылу атаки,
Где мешается кровь и боль...
В небе «Мессеры», в небе «Яки»,
Вдруг контузия...и не до драки,
И земная закончилась роль.

Звон в ушах и люди двоятся...
И где русские? Немцы? Пойми...
Нас учили: «Врагу не сдаваться!
До последней пяди держаться!»
Вот наган...а попробуй ...нажми.

Не нажал... И в ту же минуту
Его имя в вечность взлетело...
Была ярость в душе и смута,
Тело было раздето-разуто,
Но держался с достоинством он.

В городах – я сегодня узнала, –
Белый мрамор и серый гранит...
А из глыбы глаза генерала...
Подвиг русского генерала
Моё сердце навек сохранит!

У крылатого Мая...

Настоящим мужикам, павшим за Родину и любовь!!!

Есть любви ощущение
У крылатого Мая...
Просит робко прощения
Муж, жену обнимая.
Жизни не понимая,
Написал на заборе Я:
«У крылатого Мая
Есть подруга – ВИКТОРИЯ!»

У ефрейтора бравого,
Что служил в артиллерии,
Руку отняли правую,
Сколько пуля отмеряла...
Сына мать обнимает,
Ох, плохая история...
У крылатого Мая
Есть подруга – ВИКТОРИЯ!

В этой жизни безбашенной
Молодые солдаты,
Спят в казарме некрашеной
Без вины виноватые...
Обелиски безликие:
Ни фамилий, ни звания,
А Россия великая
Не легла под Германию.

За свои ощущения,
От усталости спавшие,
Мы попросим прощения
Перед памятью павших...
Мать сыночка обнимет,
Всё без слов понимая:
«Разорвавшейся mine –
От цветущего Мая».

Содержание

От составителя	3
Вячеслав Архипов	
День Победы. Повесть	5
Хромка. Рассказ	73
Рената Вафина	
Извините, меня долго не было. Рассказ	80
Елена Галимжанова	
Война коснулась каждого. Рассказ	86
Надежда Дегтярёва	
Последний день войны. Зарисовки из прошлой жизни	92
Галина Елисейкина	
Спасенное детство. Рассказ	111
Татьяна Попова	
Война глазами детей. Повесть	117
Владимир Рапацевич	
Два письма для Катерины	142
Александр Соломонов	
Отрывки из романа «Золотой Портал»	153
Сергей Стахеев	
Частный случай Великой войны	160
Стихотворения	
Надежда Дегтярёва	
Солдатский сон	167
Нина Ильичёва	
Звезда потухшая упала	169
Проходят ветераны	170
Любимой учительнице В. М. Красильниковой	171

Татьяна Литвинова

Снова май победный над Россией 172

Цена Победы 173

Солдат Победы 176

Александр Петров

Тайшет, 1945-й 177

Сергей Стахеев

Генералу Великой Войны... 179

У крылатого Мая... 181